

A detailed oil painting of a man with a beard and mustache, wearing a dark suit, white shirt, and dark tie. He is holding an open book and looking down at it. The background is a dark, textured red. The painting style is realistic with visible brushstrokes.

М. А. ДАВЫДОВ

# ТЕОРЕМА СТОЛЫПИНА

Михаил Давыдов  
**Теорема Столыпина**

«Алетейя»

2022

УДК 94(47).081/083

ББК 63.3(2)5

**Давыдов М. А.**

Теорема Столыпина / М. А. Давыдов — «Алетейя», 2022

ISBN 978-5-00165-433-9

В монографии на основании широкого круга источников обосновывается концепция, согласно которой в 1861—1905 гг. правительство империи - во многом сознательно - пыталось реализовать антикапиталистическую утопию, первую в нашей истории. Утопию о том, что в индустриальную эпоху можно быть «самобытной» великой державой, то есть влиять на судьбы мира, в принципе отвергая и игнорируя то, за счет чего добились успехов конкуренты, и в первую очередь - общегражданский правовой строй и свободу предпринимательства. Естественным следствием этой политики стало унижительное поражение в русско-японской войне, которое спровоцировало революцию 1905 г., поставившую страну на грань катастрофы. После этого алгоритм развития России изменился - началось построение правового государства, осью чего стало получение крестьянством фактической полноты гражданских прав и реализация аграрной реформы П.А. Столыпина. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(47).081/083

ББК 63.3(2)5

ISBN 978-5-00165-433-9

© Давыдов М. А., 2022

© Алетейя, 2022

# Содержание

От автора	7
Пролог	11
Что такое агротехнологическая революция?	20
Часть первая	26
Всеобщее закрепощение сословий	26
Две ипостаси дворянства	29
«Очернитель» Текутьев, или Пятое путешествие Гулливера	43
Что такое социальный расизм?	53
Раскулачивание в крепостную эпоху	63
Конец ознакомительного фрагмента.	70

# Михаил Давыдов

## Теорема Столыпина

*Посвящается моим детям и внукам*

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

**Рецензенты:**

доктор исторических наук, член-корреспондент РАН *Л. И. Бородкин*

доктор исторических наук *К. А. Соловьев*

@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ



© М.А. Давыдов, 2022

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022

*Правительство красноречиво описывает блаженство, вкушаемое подданными под его державою; помещики также красноречиво доказывают, что их крестьяне лучше и счастливее всех свободных людей в мире. Правительство указывает на западные народы как на пример несчастных последствий свободного правления; помещики указывают на состояние государственных крестьян как на такое бедствие, от которого избавлены их крепостные люди.*

*Впрочем, ни та, ни другая власть не хочет видеть, что ее подданные сочли бы за величайшее счастье, если бы их положение хотя несколько уподобилось тому, которое должно служить им уроком и предостережением от пагубных замыслов.*

*Как правительство, так и помещики равно утверждают, что либеральные стремления ни что иное, как подражание Западу, нисколько не приложимое к России. Россия, по их мнению, страна совершенно непохожая на другие, имеющая такие особенности, которые делают существующий порядок единственно для нее возможным.*

*Никто, впрочем, до сих пор не потрудился объяснить, что это за странные особенности. Кажется, это обыкновенно то, что выгодно для властей. Аргументы следственно одинаки: это аргументы всех притеснителей.*

*Б. Н. ЧИЧЕРИН. Современные задачи русской жизни. 1856 г.*

*Заставить страну жить на основании других принципов, чем те, которые признаны всеми народами мира правильными, задача может быть правильная с патриотической точки зрения, но совершенно недостижимая и поэтому никакого значения не имеющая.*

*Идея эта нежизнеспособна и поэтому обречена на крушение, и утешаться тем, что подобная политика до поры до времени возможна, значит закрывать глаза на будущие последствия.*

*С. И. ШИДЛОВСКИЙ. Воспоминания. 1923 г.*

## От автора

Эта книга – о бремени истории.

О том, какую силу имеют над нами вековые демоны.

О живучести, казалось бы, отживших идей, реализация которых уже не раз ставила нашу страну на край гибели.

Мои предыдущие работы<sup>1</sup>, полагаю, подкрепили оптимистический, «позитивный» подход к пореформенной эпохе. Я показал, что модернизация Витте-Столыпина была временем успешных реформ, превративших Россию в конце XIX – начале XX в. в одну из самых динамично развивающихся стран в мире.

Вместе с тем я настаивал на том, что она, в сущности, была «модернизацией вопреки», то есть преобразованиями, которые отвергала и которым сопротивлялась значительная и влиятельная часть русского общества.

Именно с 1890-х гг., когда верховная власть начала проводить экономическую политику, которая во многом шла вразрез с доминирующими в общественном мнении (и во многом в правительстве) тенденциями, Россия начала эффективно преодолевать то громадное отставание от передовых стран Запада, которое однозначно фиксируется в середине XIX столетия.

Следовательно, если бы элиты не сопротивлялись модернизации, развитие Российской империи после 1861 г. в целом могло быть намного успешнее.

Природа данного противодействия и его многообразные для нашей истории последствия и находятся в центре настоящей книги.

Эта тема куда интереснее и масштабнее, чем может показаться на первый взгляд: ее анализ позволяет увидеть ряд ключевых проблем нашей истории с не вполне обычного ракурса.

В частности, понять, почему у многих людей первая ассоциация с царской Россией – понятия «отсталость», «незавершенные реформы», «обреченность на революцию» и т. п.

Я имею в виду не столько «метафизические» аспекты проблемы отсталости, породившие обширную литературу, начиная с Гершенкрона.

Я в первую очередь о нашем повседневном, если так можно выразиться, идейном обиходе, в котором эта отсталость обрела отдельную самостоятельную жизнь и воспринимается как некий объективный факт мироздания, вроде строения Солнечной системы.

С одной стороны, удивляться тут нечему. На то, чтобы мы с пеленок помнили об этом, за последние сто лет были потрачены гигантские ресурсы и методы убеждения, включающие ГУЛАГ.

Ведь образ царской России как отсталой страны с незавершенными реформами и ограниченными возможностями имеет смысл столько в соотнесении с Россией Советской – страной успешных реформ и неограниченных возможностей, включая практику неограниченного геноцида собственного народа.

А с другой стороны – парадигма отсталости и кризиса не позволяет ответить на очень простые вопросы.

Прежде всего – как она совмещается с тем, что именно после 1861 г. русская культура завоевала безоговорочное мировое признание, что появились первые Нобелевские лауреаты и др.?

Отсталая страна может дать одно-два великих имени, но не мощный – именно мощный – взлет культуры на протяжении десятилетий.

---

<sup>1</sup> Давыдов М. А. 20 лет до Великой войны. Российская модернизация Витте-Столыпина. СПб.: Алетейа. 2016; Давыдов М. А. Всероссийский рынок в конце XIX – начале XX вв. и железнодорожная статистика. Издание второе, дополненное. СПб.: Алетейа. 2019.

Кроме того, обычная трактовка экономической отсталости Империи в логике сказки о «Репке» – «тянут-потянут, вытянуть не могут...» – не укладывается в сумму общеизвестных фактов.

Так, совершенно понятно, что при всех сложностях дореволюционная индустриализация отнюдь не была, условно говоря, ни строительством вертолета на Демидовской мануфактуре XVIII века, ни разведением цитрусовых на берегу моря Лаптевых, ни даже «пятилеткой в четыре года».

Самые современные заводы во второй половине XIX – начале XX в. строились, как известно, за год-полтора-два – было бы зачем и кому строить, и для этого не нужна была «сплошная коллективизация».

Столыпинская аграрная реформа за несколько лет безусловно преобразила страну к лучшему. Оказалось, что царизм способен проводить успешные масштабные преобразования.

Однако сказанное тут же вызывает встречный вопрос: а почему же заводов тогда строили недостаточно?

И почему реформа Столыпина осуществилась – как думают многие – слишком поздно? Мой ответ таков.

Я считаю, что после 1861 года Россия во многом *сознательно* де-факто реализовывала *антикапиталистическую утопию*<sup>2</sup>.

Утопию о том, что в индустриальную эпоху, во второй половине XIX века, можно быть «самобытной» великой державой, то есть влиять на судьбы мира, *принципиально* отвергая все то, за счет чего конкуренты добились преуспевания, и в первую очередь – общегражданский правовой строй и свободу предпринимательства. Естественным следствием этой политики стало унижительное поражение в Русско-японской войне, которое спровоцировало революцию 1905 г.

Лишь с 1906 г. вектор развития страны начал меняться в сторону построения правового государства.

Сказанное не только поворачивает в другой ракурс привычные подходы к пореформенной эпохе, в том числе и к проблеме «отсталости», но и делает понятнее ряд актуальных – чтобы не сказать злободневных – сюжетов.

Каких?

Все мы – кто в большей, кто в меньшей степени – современники неудачных масштабных реформ, поэтому неудивительно, что в последние годы люди все чаще задумываются над тем, почему попытки либерализации России в течение последних 160 лет оказываются бесплодными, – по крайней мере с внешней стороны.

Не так давно историк С. В. Мироненко, касаясь этой темы, апеллировал к своим воспоминаниям о перестройке. В частности, он заметил, что чем чаще М. С. Горбачев повторял, что «перестройка необратима», тем сильнее эти слова ему казались «заклинанием человека, боящегося как раз обратного и убеждающего самого себя в правильности выбранного пути».

И действительно, продолжает свои рассуждения ученый, «каждый раз, когда в истории России начиналось коренное переустройство страны, опасность возврата к прошлому оказывалась жестокой реальностью. После реформ следовал период контрреформ, либеральный курс сменялся завинчиванием гаек, усилением реакции. Страна как-то не могла, не решалась встать на путь коренных перемен, хотя, казалось бы, осознавала их необходимость и даже неизбежность»<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> И, кстати, делала это не без успеха, иначе Ленину, Плеханову и Струве не пришлось бы в 1890-х гг. тратить столько сил на доказательство того, что капитализм давно пришел в Россию.

<sup>3</sup> Мироненко С. В. Россия на пути модернизации // Российская история. 2018. № 3. С. 3–4.

Посыл Мироненко осмыслить этот феномен, условно говоря, ватной стены, на которую натываются попытки сделать жизнь России свободнее, вполне понятен. У меня, как и у многих, есть собственный опыт приобщения к размышлениям такого рода.

В 1985 г., закончив, но еще не защитив кандидатскую диссертацию «Монополия и конкуренция в сахарной промышленности России начала XX века», я начал писать книгу «Оппозиция Его Величества» о генералах М. С. Воронцове, Д. В. Давыдове, А. П. Ермолове, А. А. Закревском, П. Д. Киселеве, И. В. Сабанееве. Люди необычных судеб, герои удивительного времени, они – в разной степени, конечно, – давали пример того, как человек может встать над своей судьбой, определяемой рождением и воспитанием. Я пытался выяснить их взгляды на Россию и русскую армию в 1815–1825 гг., т. е. в период, вместивший и последний приступ Александра I к коренным реформам страны, и переход к реакции.

В ту пору – издержки советского истфака – мне казалось, что эта книга связана с моей диссертацией не больше, чем, к примеру, с греко-скифской археологией.

Однако, стоило мне со временем перейти от анализа статистики начала XX в. к живым людям, чью жизнь она описывала, как выяснилась ущербность этого мнения. Оказалось, что многое из того, что волновало моих героев в 1815–1825 гг., было вполне актуальным поводом для беспокойства и через полвека, в период Великих реформ, и почти век спустя, во время реформ П. А. Столыпина.

То есть за три четверти века – от Александра I до русско-японской войны – многие важнейшие, коренные вопросы русской жизни не были решены. Их поместили, условно говоря, в вечную политическую, социальную и экономическую мерзлоту, в которой многие из них существуют и сегодня.

Именно данным обстоятельством в очень большой степени обусловлено и появление антикапиталистической утопии, и антимодернизационные настроения элит (и не только элит), и тот комплекс явлений, который привычно связывается с «отсталостью» Российской империи.

И нам предстоит с этим разобраться.

Прежде всего нужно получить максимально развернутые ответы на два связанных вопроса:

1. Каким образом элементарный, казалось бы, хозяйственный сюжет о том, как выгоднее получать с крестьян подати, – посадив их на передаваемые по наследству участки или заставляя их уравнивать землю сообразно изменениям в составе семей или достатке, превратился в проблему крестьянской общины, «в социальную проблему, в вопрос о судьбах России»?<sup>4</sup>

2. Почему П. А. Столыпин в 1906 г. заявил, что «наша земельная община – гнилой анахронизм, здравствующий только благодаря искусственному, беспочвенному сентиментализму последнего полувека, наперекор здравому смыслу и важнейшим государственным потребностям»<sup>5</sup>.

Кроме того, мы должны уяснить причины возникновения антикапиталистической утопии и факторы, обеспечившие ее устойчивость во времени и популярность среди представителей разных общественно-политических течений. Для этого необходимо охарактеризовать эволюцию положения дворянства и крестьянства до 1861 г., восприятия первым второго, направление аграрной политики самодержавия, развития правосознания и особенности идейной эволюции русского общества во второй четверти XIX века, во многом повлиявшие на конструкцию Великой реформы и ход модернизации.

И тогда многое станет понятнее.

Например, почему в аграрной стране, где население ежегодно в среднем возрастало на 1,5 млн человек, правительство десятки лет сознательно тормозило колонизацию почти пустой

---

<sup>4</sup> Чернышев И. В. Аграрно-крестьянская политика России за 150 лет. Пг., 1918. С. IX.

<sup>5</sup> Столыпин П. А. Грани таланта политика. М., 2006. С. 498.

Сибири и эмиграцию из страны, а интенсификация крестьянского хозяйства стихийно началась спустя чуть ли треть века после освобождения.

Почему промышленность развивалась так слабо, что была неспособна вызвать отток лишних рабочих рук из деревни, как это было везде в мире?

Почему отсчет индустриализации всерьез начинается только с 1887 г.? А на что ушла четверть века после 1861-го? На «мучительную перестройку» промышленности, о которой говорят учебники?

Ведь цивилизация в передовых странах сделала за эти годы громадный рывок вперед. Скажем, Япония, стартовав из своего условного XVII века, перестроилась куда быстрее и эффективнее.

Список «почему» легко продолжить, однако едва ли это необходимо делать сейчас.

\* \* \*

Автор очень благодарен друзьям и коллегам, помогавшим ему в работе над этой книгой.

Я бы хотел почтить память своего покойного научного руководителя, профессора В. И. Бовыкина, который познакомил меня с данной тематикой.

Я искренне признателен Л. И. Бородкину, И. М. Гарсковой, Т. Я. Валетову, М. В. и А. Б. Голубовским, Я. А. Гордину, Е. А. Елпатьевской, А. Б. Каменскому, И. В. Курукину, К. А. Соловьеву за ценное научное сотрудничество и душевную поддержку.

Отдельно отмечу бесценную – как и всегда – помощь моей дочери Евгении Давыдовой.

## Пролог

9 августа 1878 г. с борта пришедшего из Любека парохода на рижский причал смотрел 22-летний датчанин.

Человек вполне сухопутный, он был измотан жестоким трехдневным штормом и только-только «начал приходить в человеческое состояние».

Позже, вспоминая этот день, он заметит: «Как и у большинства молодых людей с амбициями, у меня были очень большие представления о той роли, которую я со временем буду призван сыграть в обществе. Какой-нибудь болезненной недооценкой своих способностей я, во всяком случае, не страдал. Поэтому я был несколько разочарован тем приемом, который мы получили по прибытии в Ригу. Там была только группа тупых портовых грузчиков, слонявшихся по причалу...».

Багаж, с которым он проходил таможенную, был не вполне обычным, – большой сундук с литературой по сельскому хозяйству и даже «целый плуг», не считая других орудий. Таможенники встретили нашего героя «благосклонно» и не стали досматривать книги, хотя обязаны были это сделать: «Должно быть, в те далекие дни у меня была внушающая доверие внешность, и, кроме того, я был, несмотря на мое немалое самомнение (или, может быть, именно поэтому), довольно наивным божьим созданием из провинции».

Мемуарист с таким зарядом самоиронии априори симпатичен читателю. Не зря, по Фазилю Искандеру, это один из признаков истинного ума и самодостаточности.

Кстати, относительно как минимум двух вещей автор не ошибался.

Во-первых, по поводу внешности, внушающей доверие.

Сохранилась его фотография, сделанная накануне отъезда в Россию.

Это мужественное и вместе с тем приятное лицо – лицо определенно незаурядного человека.

Высокий лоб с решительным клином русых, зачесанных наверх коротких волос. Твердый, немного исподлобья, спокойный взгляд светлых глаз. Крепкие, чуть скошенные скулы, подбородок, который, если верить детективам, принадлежит волевым людям. Красиво очерченный рот. Спокойно сложенные сильные руки. В целом – весьма уверенный на вид, внушительно скроенный молодой человек. Цитируя классика, «в общем такие нравятся женщинам. И на мужчин производят впечатление» (на более поздних фото это лицо уже отягощено усами и эспаньолкой – тем камуфляжем, который создает образ и в то же время стандартизирует любую внешность).

Во-вторых, не ошибся он и относительно роли, сыгранной им в истории той страны, которую он впервые увидел в Риге и в которой провел последующие 50 лет.

Не уверен, однако, что его имя знакомо читателю.

Автор цитируемых записок – Карл Андреас Кофод, человек, которому суждено было стать не больше и не меньше как провозвестником аграрной реформы, получившей в нашей истории название Столыпинской, ее видным идеологом и одним из авторитетнейших деятелей.

Он родился 16 октября 1855 г. в семье аптекаря в городке Сканнерборг в Юго-Восточной Ютландии. Его отец, сын землевладельца, стал фармацевтом вопреки мечте о сельском хозяйстве. Со временем, однако, все встало на свои места – он продал аптеку и на заранее купленной земле построил усадьбу, которую символично назвал «Доброй Надеждой».

Любовь к сельскому хозяйству отец сумел передать сыну. С 14-ти лет Карл начал практическое изучение сельского хозяйства, сначала в отцовском, потом в других имениях. В 1873 г. он поступил в Королевскую ветеринарную и сельскохозяйственную академию, которую закончил, между прочим, вторым в выпуске, чем, однако, был недоволен. Высокая международная

репутация академии позже сыграла «чрезвычайно большую» роль в российской карьере Карла. Дания уже тогда считалась страной эталонного сельского хозяйства.

Два года он работал помощником управляющего имения, после чего, расширяя квалификацию, прошел курсы по практическому ведению молочного хозяйства, которыми руководил мировой авторитет в этой области профессор Т. Р. Сегельке.

Наконец, пишет автор, «движимый стремлением увидеть мир, которое присуще многим жителям севера, я летом 1878 года поехал в Россию»<sup>1</sup>.

Почему в Россию?

Карл объясняет это «игрой случайностей». Его кузен-филолог стал воспитателем в Катковском лицее в Москве, и это, по словам Кофода, немного приблизило к нему Россию.

Однако отъезду предшествовал поступок, который трудно отнести к числу случайных и который хорошо показывает меру романтизма и здорового авантюризма, а также чувства справедливости, присущих этому необычному молодому человеку.

Когда в 1877 г. началась война России с Турцией за Болгарию, он явился в русское генеральное консульство в Копенгагене и предложил себя в качестве добровольца. Этот шаг стал как бы эпиграфом к его дальнейшей жизни.

Ему, впрочем, объявили, что Россия в нем как в солдате не нуждается: «Оскорбленный тем, что мною пренебрегли, я покинул консульство, но не саму мысль найти путь, который привел бы меня в Россию».

В итоге он присоединился к компании датчан, купивших имение Перекалье неподалеку от Великих Лук и приводивших его в порядок после пожара, – пока сделка оформлялась, все постройки сгорели.

Из Риги он поездом доехал до Витебска, а затем на почтовых до места назначения. Эта поездка оставила нам прелестную зарисовку: «Никогда не забуду впечатления красоты, которое охватило меня, когда я, после многочасовой езды по мрачному хвойному лесу, выехал из него и увидел вдруг перед собой в долине реки Великие Луки. Не сам город производил это впечатление, он был серым и ничего не говорящим. Но церкви! Опоясанные сверкающей серебряной лентой Ловати, стояли они в солнце позднего лета со своими многочисленными маленькими позолоченными куполами, которые так чудесно вырисовывались на фоне зеленых крыш и окрашенных в светлые тона стен! Казалось, я никогда прежде не видал такой захватывающей симфонии красок»<sup>2</sup>.

Датчане восстанавливали сгоревшие строения, а квартировали куда-то у прежнего владельца купленного имения, Михаила Петровича Объедова, «интеллигентного, образованного, одаренного, благородно мыслящего и очень красивого молодого человека». Он находился под надзором полиции за участие в студенческих беспорядках 1870 г., а его брат, после «хождения в народ» сосланный в Вятку, к этому времени уже бежал за границу.

Весьма характерно, что наш герой с самого начала серьезно взялся за русский язык («Я был прилежен. Каждый вечер я читал до 10 часов, а в 4 часа следующего утра уже опять сидел с моими книгами»).

Объедов, с которым они сразу же сблизились, стал учить его русскому языку, т. е. поправлять его произношение, когда тот читал вслух, а Карл, который к этому времени стал Андреем Андреевичем, таким же образом учил его немецкому.

Объедов стал его первым постоянным собеседником в России, от которого он, несомненно, многое узнал о стране. Через некоторое время А. А. познакомился с его сестрами, приехавшими из Петербурга, и «воспылал любовью к одной из них», на которой со временем счастливо женился.

Осень и зиму датчане валили лес, превращали его в строительный материал и вывозили к месту будущей стройки. Понятно, что все это было временно – Карлу «хотелось попробовать

свои силы», испытать себя как специалиста. Возникали и исчезали какие-то варианты трудоустройства, но в начале 1880 г. один из них оказался реальным.

Коллега его брата, работавшего в Катковском лицее, словак из Австро-Венгрии Юрий Юрьевич Ходобай, адаптировал и переложил на русский язык знаменитую тогда латинскую грамматику Фердинанда Шульца, «за которую русские гимназисты возненавидели его имя». Впрочем, гонорара за эту работу, выдержавшую до революции более 10-ти изданий, хватило, чтобы купить имение Титово между Калугой и Тулой, а Кофода – по рекомендации брата – он пригласил туда управляющим и, судя по всему, не пожалел.

А нашему герою, «сильному как медведь», вскоре по приезде пришлось свести самое близкое знакомство с нравами русских земледельцев: «У меня были довольно сносные отношения с крестьянами, хотя мне приходилось постоянно ссориться с ними, запрещая им рубить в лесах и стравливать помещичьи поля. Одна из таких ссор, вскоре после моего вступления в должность, кончилась для меня ударом дубины по затылку, в результате чего я вынужден был уехать в Данию на 2 месяца, чтобы оправиться от этого».

Не каждый иностранец вернулся бы назад после такого дебюта. Кофод, однако, в июле 1880 г. снова был в Титово, и вскоре произошло событие из разряда тех, которые постфактум принято именовать судьбоносными.

Шла жатва, убирали овес, он верхом «разъезжал между скирдами и дирижировал крестьянами, которые возили снопы с поля домой». В этот момент ему принесли телеграмму от его старого учителя, профессора Сегельке, сообщившего, что он в Москве и хочет повидаться. Ходобай любезно отпустил его на несколько дней.

Сегельке всегда было интересно, как идут дела у его учеников; к тому же он прозорливо решил, что Кофоду будет полезно познакомиться с некоторыми незаурядными людьми.

Так и произошло. Позже автор часто с благодарностью вспоминал своего учителя за внимание и заботу. Через него он познакомился и подружился с пионерами русского молочного скотоводства и, в том числе и со знаменитым Николаем Васильевичем Верещагиным, основателем молочного дела в России, и людьми его круга, «ведущими личностями в русском скотоводстве и молочном деле». Больше других Кофод сблизился с Верещагиным, «братом всемирно известного художника. Он тоже имел душу творца, был одарен богатой фантазией и энергией, которая лишь возрастала при встрече с трудностями. Для развития русского молочного хозяйства он тратил деньги, не считая... С их помощью мало-помалу русское молочное хозяйство создавалось, и создателем его был Верещагин. Мы хорошо подходили друг к другу, так как я тоже был большой фантазер»<sup>3</sup>.

Познакомился Кофод и с В. И. Бландовым, другом и соратником Верещагина, первым крупным экспортером русских молочных продуктов, который, как и Верещагин, начинал морским офицером (они дружили с морского кадетского корпуса). Сыроварению он учился в Голландии, а затем они вместе создали артельную сыроварню в селе Коприно в Ярославской губернии.

Позже Бландов вместе с братом открыл свою фирму, стал миллионером и одним из главных воротил рынка молочных продуктов в России. В частности, он стоял у истоков сибирского маслоделия.

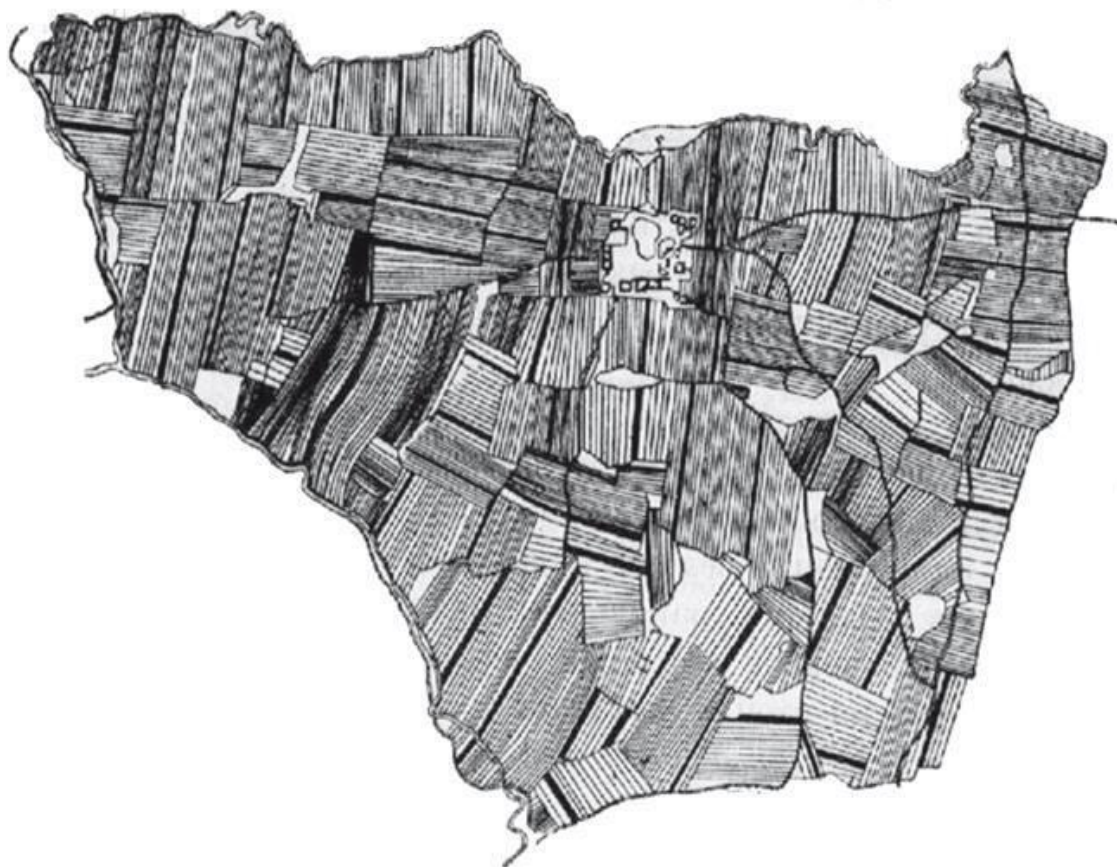


Схема 1. Деревня Орел ев в Дании в 1768 г. до разверстания.  
Черные полосы принадлежат одному двору.

Был там и Аветис Калантар, также ученик Сегельке, в будущем – основатель Вологодского молочного института, успевший потрудиться и в советское время.

Куда бы Сегельке ни приезжал, его всегда встречали как всемирно известного ученого. Русские специалисты по молочному делу также хотели приветствовать его и проявить лучшие стороны нашего гостеприимства.

«В один их тех памятных дней в Москве Сегельке, я и несколько наших русских хозяев собрались вечером в одном из прекрасных московских ресторанов. Главной темой разговора были меры, с помощью которых можно было бы поднять продуктивность примитивного хозяйства русского крестьянина.

Мы, датчане, заявили, что прежде всего крестьянские земли должны быть разверстаны. То есть те разбросанные земельные участки, из которых состоял крестьянский надел, должны быть собраны в одно целое вместе с принадлежащей данному крестьянину частью общих пастбищ».

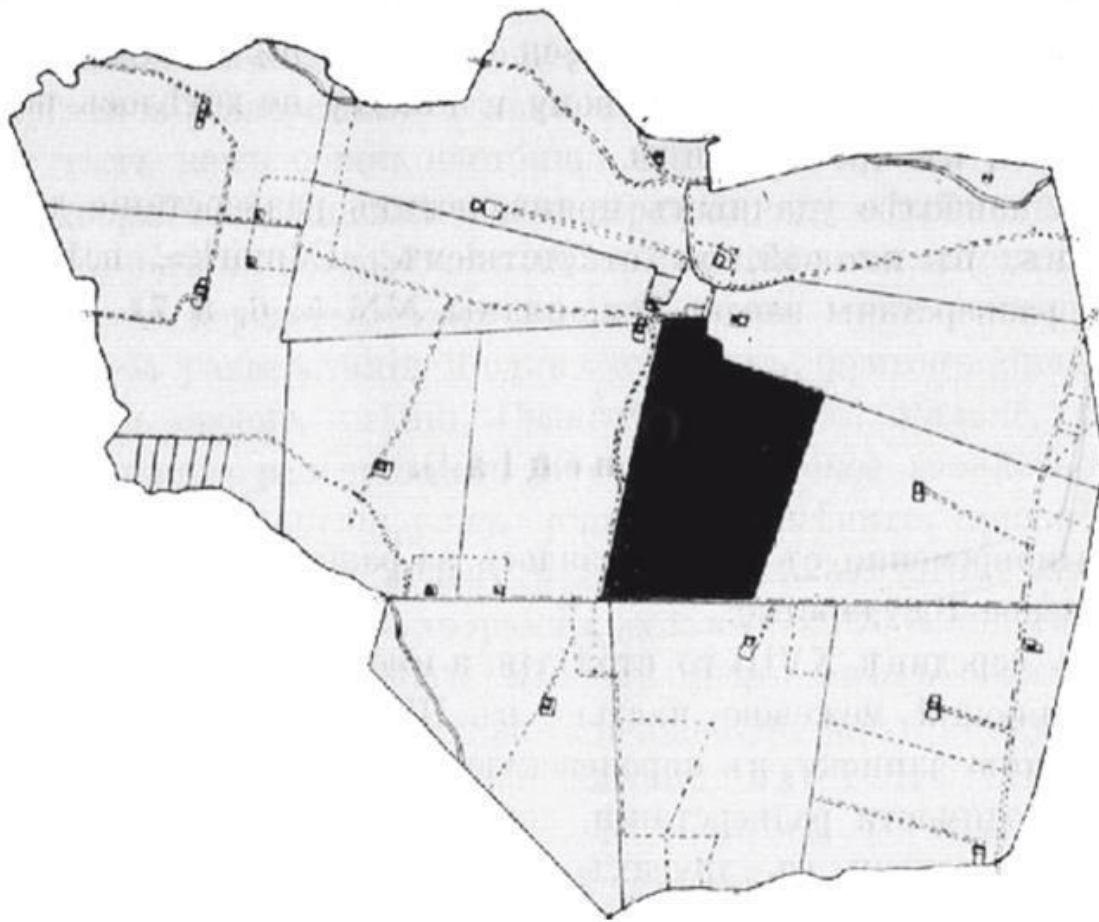


Схема 2. Деревня Орслев в Дании после разверстания. Полосы сведены воедино.

Кофод честно признается, что тогда он имел очень туманное представление о разверстании, что и понятно – в Дании оно было проведено еще в XVIII в., и это уничтожение чересполосицы было одной из важнейших причин фантастически быстрого подъема датского сельского хозяйства в течение последнего столетия. Автор просто не видел в Дании не то, что неразверстанных деревень, а даже плана такой деревни. В школе на эту проблему обращали мало внимания.

Однако какое-то понятие об этом у автора было. За два года жизни в русской деревне он видел вполне достаточно «глупых распределений земельных владений между крестьянами, чтобы понять, что прежде чем принадлежащие каждому двору участки земли не будут собраны в одно легко обозримое территориальное целое, не может быть речи о быстром подъеме крестьянских хозяйств. К тому же то, чего я не знал о значении выделов, знал профессор.

Мы с профессором мужественно защищали нашу точку зрения, но все наши аргументы отскакивали от предвзятых русских, как от стенки горох.

**Они, т. е. наши аргументы, принимались снисходительно как знак нашего незнания фактического положения дел<sup>6</sup>.** В известной степени так оно и было: мы бы никогда не завели разговор об этом, если бы знали, насколько больным был в то время вопрос о русском общинном землепользовании.

**Мне наши хозяева посоветовали, если я намерен остаться в России и заниматься сельским хозяйством, познакомиться с сущностью общины.** Тогда бы я понял,

<sup>6</sup> Здесь и далее курсив в цитатах принадлежит их авторам, а жирный шрифт мне – М. Д.

считали они, что **эта форма владения является благословением для страны и что поэтому всеми силами нужно стараться сохранить ее.**

Хотя это и не было сказано прямо, мы, однако, поняли, что для наших хозяев русский “мир” был областью, о которой иностранцы не имели никакого понятия, и поэтому они с полным правом могли ожидать, что мы, иностранцы, будем достаточно тактичны, чтобы не критиковать его»<sup>4</sup>.

Поэтому профессор деликатно перевел разговор на другие темы, и остаток вечера собеседники оживленно обсуждали артели по обработке молока, появившиеся тогда в северной России.

«Когда позднее мы с профессором обсуждали разговоры этого вечера», – продолжает Кофод – «мы не могли понять образ мыслей наших – **во всех остальных отношениях разумных – хозяев.**

Должны же они понимать, считали мы оба, что до тех пор, пока земля отдельных крестьян разбросана полосками и клочками по всей площади, принадлежащей деревне, не может быть и речи о быстром развитии крестьянских хозяйств.

Я достаточно был наслышан (и профессор – не в меньшей степени) о том, что русское общинное землепользование было не совсем таким, как датское, или, вернее, как западноевропейское. Мы знали также, что его своеобразие состояло в периодически повторяющихся переделах земли между домохозяевами. Но почему, в каких размерах и каким образом осуществлялись на практике эти переделы, мы не знали»<sup>5</sup>.

Тогдашние описания России иностранцами обходили данную тему.

Точно так же все русские, которых Кофод расспрашивал об этом, «не могли дать сколько-нибудь ясного ответа о сути и значении общинного землепользования. **Для них понятие “мир” было догмой, о которой не нужно и невозможно дискутировать.**

Итак, в тот момент я знал не много о характере русской общины. Но все-таки из дискуссий с нашими русскими друзьями я понял, что **их оценка общинной формы владения была больше из области чувств, чем реальной и сознательной оценкой ее характера.**

Для них было достаточно, что **община была истинно русским явлением, поэтому она была вне всяких дискуссий, чем-то святым.** Но какую она сложилась, и именно из-за ее **священного** характера, – она была существеннейшей помехой в проведении такого распределения земельных владений, когда каждый отдельный крестьянин получил бы причитающуюся ему часть в форме собранного, легко обозримого и удобного для обработки участка. Община была абсолютно несовместима с таким распределением земли»<sup>6</sup>.

Память – вещь зыбкая, и разговоры, восстанавливаемые мемуаристом по памяти много лет спустя, совсем не то, что протокольная или дневниковая запись. Однако сомневаться в точности изложения беседы Кофодом не стоит, поскольку она совершенно типична.

В этом описании интересно многое, но сейчас отмечу тот важный факт, что оппоненты датчан не были среднестатистическими представителями российского образованного класса, чей кругозор умещался в несколько цитат из Герцена и Чернышевского.

Не относились они и к народнической профессуре, у которой с наукой и научной этикой проблем было не меньше, чем у тогдашнего Святейшего Синода с веротерпимостью.

С ними спорили отнюдь не дилетанты, не умеющие отличить овса от ржи, а сугубые профессионалы, которые 20 лет находились в гуще народной жизни и **практически** знали русское сельское хозяйство.

Причем то были люди, которые все эти годы были не просто движимы идеей подъема благосостояния крестьянства, но **лично** предпринимали для этого очень серьезные усилия, в том числе и материальные. Верещагин расстался с морем в преддверии освобождения крестьян, вдруг ощутив свою **миссию**. Так же чуть позже поступил Бландов, и то, что у него окажется

мощная деловая хватка и что к моменту знакомства с Кофодом у его торговли будут миллионные обороты, выяснится позже.

Всё их многолетнее подвижничество, связанное с молочным делом, с просвещением крестьян, с созданием в русской деревне новой реальности имело, среди прочего, целью дать крестьянам другую жизнь, другие заработки, вывести их из хозяйственного застоя.

Тем не менее, даже эти «во всех остальных отношениях разумные» люди, не могли выйти за рамки общепризнанных, как мы увидим ниже, догматов.

Этот вечер сыграл важнейшую роль в жизни нашего героя.

Иногда для того, чтобы твоя судьба стала частью чего-то по-настоящему масштабного и стоящего, не нужно вербоваться, скажем, на каравеллу «Санта Мария». Достаточно оказаться в интересной компании.

По-своему забавный эпизод, всего-то светский ресторанный разговор не только дал 24-летнему Кофоду огромную пищу для ума, но и во многом предопределил сценарий его жизни.

После этого памятного вечера он ясно понял, что консолидация крестьянских полосок в компактный участок невозможна, пока в русском обществе господствует атмосфера восприятия уравнилельно-передельной общины как национальной святыни.

Ему стало понятно, что никакие прагматичные доводы об интенсификации не действуют на общественное мнение, пока он не сможет найти жизнеспособные примеры удачно проведенного разверстания – «конкретные видимые доказательства».

Много лет спустя он так описывает свои тогдашние, по его же определению, «фантазии»: «У меня не было никаких шансов, что мне удастся найти что-нибудь подобное. Но так уж я устроен, что мне бывает очень трудно отказаться от осуществления чего-то, что, по моему убеждению, должно быть осуществлено, – сколько бы времени ни прошло, прежде чем я смогу приступить к этому. Ведь недаром же я ютландец!<sup>7</sup> Кроме того, я был, к счастью, оптимист – каковым, впрочем, и остался – и не питал никаких сомнений в том, что рано или поздно мне удастся найти такие разверстания, в которых я нуждался».

Он исходил из того, что было бы очень странно, если бы в такой гигантской стране, как Россия, среди сотен тысяч деревень не нашлись бы крестьяне, которым надоело, что их земли разбросаны клочками и кусками по всем полям. А если такие деревни существуют, то он сумеет их обнаружить.

Так и случилось, но только через 21 год.

Конечно, скептик всегда может сказать, что мемуарист, зная развязку, постфактум приписал себе чувства, которых на деле не было.

Проверить это не удастся.

Но в данном случае я – не скептик.

На долгие годы Кофоду была суждена роль вольтеровского Простодушного, который видел то, чего не замечало – по привычке и по «замысленности» взгляда – большинство окружающих.

Через некоторое время он был намного лучше осведомлен о том, что такое «мир».

Он уже знал, что в нынешнем виде передельная община возникла как результат податной реформы Петра I. Каждая ревизская душа должна была иметь равные с другими возможности уплатить подушную подать.

При освобождении крестьян в 1861 г. юридическим собственником выкупаемой земли после перехода на выкуп стала община (общество, «мир»), а каждый отдельный крестьянин имел право пользоваться определенной ее частью.

Это право было постоянным или временным в зависимости от того, было ли в данном обществе подворное или общинное землевладение.

---

<sup>7</sup> Надо думать, что в Дании это понятие столь же комплиментарно как наше «сибиряк».

Первое было распространено в западных губерниях, когда-то входивших в состав Речи Посполитой. Здесь у крестьян было *наследственное* право пользования теми участками пашни и лугов, на которых они фактически трудились, а также право на долю в так называемых площадях общего пользования. Община была владельцем земли лишь формально.

А в великорусских общинных деревнях «мир» периодически переделывал землю между крестьянами по своему усмотрению *в соответствии с принятой в нем системой разверстки* (по ревизским душам, по работникам и др.)

Чересполосица была в обоих вариантах, однако стабильность пользования землей при подворном владении позволяла крестьянам улучшать землю, не опасаясь потери вложенного труда при очередном переделе.

Прояснился для Кофода и вопрос о «священном характере» общины: «Есть веские основания предполагать, что **если бы русская община не стала приблизительно в середине прошлого столетия, предметом особого внимания как со стороны правительства, так и со стороны общества, то она умерла бы кроткой и спокойной смертью, так же незаметно, как и жила.** Но этого не произошло.

Как часто случалось до и после этого в русской истории, «немец» разрушил идиллию и обратил внимание всей страны на проблему.

Судьбе именно было угодно, чтобы один ученый немец, барон фон Гакстхаузен получил разрешение, под надлежащим контролем, ездить по России и собирать сведения об ее экономическом и социальном положении (в 1843 г. -*М. Д.*)

Он обнаружил общину, которую описал как **феномен, происходящий из русского народного характера, заслуживающий того, чтобы его заботливо сохраняли, так как он, этот феномен, защищает сельское население от пролетаризации.**

Не так уж много страниц было об этом в отличном трехтомном труде Гакстхаузена, но то, что он написал об этом, **стало водой на мельницу сильной в то время панславистской партии** (т. е. славянофилов – *М. Д.*). Гакстхаузенские путевые очерки стали одной из тех книг, которые никто не читает, но о которых все говорят.

Говорили, конечно же, только о тех нескольких страницах, на которых рассказывалось о «мирском» правопорядке, но представлялось это так, как будто во всем труде речь шла только об этом. Если этот ученый-иностранец, говорилось, считает, что правопорядок «мира» является достойным восхищения чисто русским явлением, которое может помешать пролетаризации сельского населения, значит, это так и есть, и мы должны защищать этот правопорядок всеми способами.

Совсем уж неадекватными стали настроения после того, как один из наиболее известных дипломатов того времени, граф Кавур, который слышал кое-что о книге Гакстхаузена, обращаясь к известному русскому революционеру Бакунину,<sup>8</sup> человеку с очень богатой фантазией, высказался примерно так: «Вам, русским, повезло, вы же в вашем мирском самоуправлении имеете палладиум против пролетаризации сельского населения!

Теперь уже все порядочные люди в России, независимо от того, были славянофилами или нет, считали, что община – это табу. Горе тому, кто поднимет на нее руку!

Так что ничего удивительного, что наше с профессором Сегельке мнение о необходимости расселения русских деревень было отклонено»<sup>7</sup>.

То, что пишет Кофод, – правда, но это не вся правда.

Его воспоминания, изданные в 1945 г. в Копенгагене, вряд ли были рассчитаны на публикацию в СССР, и это должно было отразиться на манере и степени подробности изложения.

---

<sup>8</sup> Не путает ли Кофод Бакунина со славянофилом Кошелевым, описавшим беседу с Кавуром об общине в своих «Воспоминаниях»?

Для целей Кофода-мемуариста информации, которую он сообщает датскому читателю в этом описании, было достаточно.

Для нас же сегодня – определенно нет, поскольку за рамками остается важнейший пласт идей, доживший до XXI в. нашего времени и продолжающий влиять на нашу сегодняшнюю жизнь.

Кофод, безусловно, знал все перипетии развития общинной парадигмы, прямо воздействовавшие на судьбы русской деревни, а в конечном счете – и России в целом, но, полагаю, считал излишним погружать в эти подробности своих европейских читателей. Так, он ни слова не говорит о надеждах на общину социалистов.

Поэтому мы должны расширить рамки слишком дипломатичного изложения проблемы автором, чтобы лучше понимать, каким образом «скромная» «незаметная» община стала, во-первых, мифом национального самосознания (и для многих продолжает оставаться таковым даже в эпоху межпланетных перелетов), а во-вторых, – центром не только всего строя крестьянской жизни, но и залогом политического и экономического будущего Российской империи.

Кофод с мягкой иронией говорит об общинных симпатиях русского общества как о простительной слабости уважаемого человека.

Но мы-то сегодня знаем, что слабость эта оказалась совсем непростительной – умиление общиной и вознесение ее на пьедестал национального самосознания, ее искусственная поддержка правительством после 1861 г. обернулись разнузданной и кровавой вакханалией черного передела 1917–1918 гг., получившей в историографии название «общинной революции», с убийствами помещиков и членов их семей, изнасилованиями барынь и барышень, поджогами и выдираньем штопором глаз у лошадей.

И поэтому приведенный разговор имеет для нас самый непосредственный интерес и невыдуманную актуальность.

Попытаемся разобраться.

## Что такое агротехнологическая революция?

Все собеседники согласны, что русские крестьяне живут бедно, – иначе, зачем обсуждать вопрос о подъеме производительности их «примитивного хозяйства»?

Датчане утверждают, что коренная причина этого – чересполосица.

Понятно, что раздробленность наделов на десятки частей-полос резко повышает непродуцируемые затраты времени и труда на переезды. Достаточно прикинуть, сколько времени уходит на то, чтобы перейти от одной полосы к другой, от девятой к десятой, от 19-й к 20-й и т. д. (а их бывало до ста и более). Да и Россия не Дания – даже при среднем расстоянии полос от жилья в 1,5 версты, что бывало и в небольших деревнях, хозяин надела в 10 дес. ежегодно проезжал 2–3 тыс. верст!

При этом чересполосица лишь часть куда более масштабной проблемы – проблемы радикальной перестройки экстенсивного крестьянского хозяйства, которую историки – по аналогии с промышленной – называют аграрной революцией<sup>8</sup>, а мы в этой книге – во избежание аналогий с российским «черным переделом» 1917–1922 гг. – агротехнологической революцией. Вне изменения отношений собственности ликвидировать чересполосность очень сложно.

И здесь нам придется сделать пространное отступление.

Деревенское расселение **всегда и везде** связано с чересполосицей, принудительным севооборотом и большими массивами земель общего пользования (луга, покосы, пастбища, лес).

Чересполосица полевых угодий вытекала из стремления крестьян к абсолютной справедливости при разделе земель. Каждый хозяин вне зависимости от площади его надела должен был вести хозяйство на одинаковых с другими условиях. То есть, немного упрощая, каждый должен был иметь свою долю в земле ближней и дальней, в хорошей по качеству, в средней, плохой и т. д. В итоге крестьянский надел состоял из отдельных частей-полосок, число которых зависело от места и времени.

При этом на пашне, когда она не засеяна, всегда пасется деревенское стадо, поэтому отдельный крестьянин не может вести хозяйство так, как ему хочется, по личному плану. Севооборот в этих условиях можно устанавливать только сообща, и он является принудительным – все крестьяне должны одновременно обрабатывать поля, сеять одну и ту же культуру и убирать урожай и т. д. Иначе скот потопчет или потравит посевы.

Индивидуально крестьянин пользовался только усадебными и пахотными землями, а леса, сенокосы, пастбища и земли, считавшиеся неудобными, были в общем пользовании.

До начала Нового времени в таких условиях жила вся западноевропейская деревня (кроме местностей, где люди селились хуторами), причем в общей чересполосице наряду с крестьянами часто участвовали и помещики.

Очевидно, что эта система не позволяет вести самостоятельное хозяйство и препятствует проявлению личной инициативы отдельных хозяев, их желанию найти более выгодные варианты приложения своего труда (например, выращивать другие растения), а, значит, тормозит повышение уровня агрикультуры. К тому же с ростом населения эти явления усугубляются мелкополосицей и дальнотемельем.

Вместе с тем, пока господствовало экстенсивное натуральное хозяйство, крестьяне мирились и с чересполосицей, и с принудительным севооборотом. Этот режим землепользования мог оставаться неизменным веками, поскольку давал определенные выгоды – прежде всего, пользование общими угодьями.

Однако по мере развития рынка, товарного хозяйства ситуация меняется. Постоянно растущим городам нужен не только хлеб, но и продукция животноводства – шерсть, мясо, масло.

Но для этого нужно увеличивать поголовье скота, что, в свою очередь, требует роста кормовой базы.

Отсюда – необходимость перехода от зернового хозяйства к травопольному, т. е. включению в список выращиваемых культур кормовых трав (клевера, люцерны, вики, эспарцета), дающих сено лучшего качества и в 2–3 раза больше, чем естественные луга, и кормовых корнеплодов (картофеля, свеклы, турнепса и др.).

Однако такой переход – сложная задача, поскольку необходимо уйти от трехполья к многополью, куда, наряду с зерновыми культурами, можно было бы ввести кормовые растения. А крестьянам – как показывает история разных стран – очень трудно договориться об общем изменении системы хозяйства.

Оптимальный для них выход состоит в уничтожении чересполосицы и сведении всей своей земли в один компактный участок, отграниченный от соседей, т. е. землеустройстве.

В XIX в. в континентальной Европе вслед за промышленной началась агротехнологическая революция<sup>9</sup>, суть которой состояла в переходе от экстенсивной стадии развития сельского хозяйства к интенсивной. Это выразилось в замене дву- и трехполья многопольем<sup>10</sup>, что увеличило продуктивность и рентабельность крестьянского хозяйства.

Необходимым условием ее победы стало освобождение аграрного сектора от феодальных стеснений – прежде всего **появление частной крестьянской собственности на землю**, сопровождавшееся разделом общинных земель и ликвидацией в ряде стран чересполосицы.

В отдельных странах эта революция имела свою динамику и свою специфику, но в итоге везде она была успешной, избавив Европу от многовекового страха перед голодом. Ей очень помогли научный прорыв в агрохимии в первой половине XIX в., переворот в сельскохозяйственной технике и, наконец, транспортная революция, просто изменившая жизнь человечества. При этом с середины века ряд правительств взял на себя задачу масштабного агрономического образования крестьянства. Тогда же избыточная рабочая сила начала перемещаться из сельского хозяйства в промышленность.

Особенно успешной агротехнологическая революция оказалась в Северной Европе, где пошли по пути уничтожения чересполосицы, и именно это стало главным фактором беспрецедентного, по мнению современников, подъема сельского хозяйства в Дании, ставшей для Запада безусловным эталоном.

Поэтому датчане знали, о чем говорили, когда уверяли собеседников, что русские крестьяне начнут богатеть только после консолидации своей земли в один компактный участок. Эта мысль настолько очевидна, что, казалось бы, спорить не о чем. Но разверстание чересполосицы было возможно при одном важнейшем условии – при изменении существующего в России порядка землепользования; в идеале крестьяне должны были стать собственниками земли, которую обрабатывают.

Однако их русские друзья были категорически не согласны с этим, считая, что общинная чересполосица имеет достоинства более важные, чем хозяйственная эффективность.

Если оценивать позиции собеседников с точки зрения **экономической целесообразности**, то приведенный разговор в ресторане вполне уместно интерпретировать в рамках примерно такой аналогии: датчане уверены, что люди должны ходить ногами, а их уверяют, что по эту сторону границы принято передвигаться ползком (или на четвереньках, на руках, или прыгая на одной ноге, в мешках – нужное подчеркнуть), и в этом залог процветания России. На полях напомним, что тема дискуссии – повышение благосостояния крестьян.

---

<sup>9</sup> Обе революции начались в Англии в XVIII в.

<sup>10</sup> «Отцом» многопольных плодосменных севооборотов считается немецкий агроном Тэер.

При этом данные способы передвижения в глазах русских людей являются необсуждаемой «догмой», имеют «священный характер», потому что связаны с общиной, которая считается «благословением для страны».

Каким образом чисто хозяйственный момент может превратиться в «святыню»?

Это возможно, если он касается чего-то большого и важного из эмоциональной сферы, из того, что задевает, трогает чувства. Ведь в жизни, безусловно, есть вещи более сильные и серьезные, чем прагматизм и рациональность.

Однако тут речь идет не о ценностях бесспорно высшего порядка – не о любви к Родине, не о чести, не о верности религии предков и т. д.

Дело в сугубо хозяйственной коллизии – всего лишь в том, как распределять пахотные и иные угодья, а это и в древнем Египте, и в Российской империи можно сделать либо более, либо менее разумно.

И почему-то неэффективная система такого распределения оказывается вдруг не просто правильной, а выступает как некая национальная святыня, чуть ли не как залог патриотизма.

То есть если убрать все кофодовские реверансы, то получается какая-то дикая история. В Россию приезжает «ученый немец» (и явно не Лейбниц) и объявляет, условно говоря, что нам «дали гораздо лучший мех», что мы обладатели сокровища, которое не замечали, хотя видели его ежедневно полторы сотни лет.

Как будто миссионер рассказал туземцам, что земля круглая. Или что яблоки, оказывается, съедобны.

Потом эту мысль со слов первого повторил другой, еще более известный иностранец, объединитель Италии Камилло Кавур, после чего настроения в обществе стали «совсем уж неадекватными» и отныне «все порядочные люди в России, независимо от того, были славянофилами или нет, считали, что община – это табу. Горе тому, кто поднимет на нее руку!».

Прямо скажем, не самая стандартная причина для коллективного помешательства.

И откуда взялась такая доверчивость? Такая некритичность восприятия?

Почему огромная часть образованных людей России оказалась настолько простодушной, что поверила в эту идею?

Только потому, что оно льстило их самолюбию и представляло Россию в выгодном свете?

«Если этот ученый-иностранец, говорилось, считает, что правопорядок «мира» является достойным восхищения чисто русским явлением, которое может помешать пролетаризации сельского населения, значит, это так и есть, и мы должны защищать этот правопорядок всеми способами».

И вот ради этого гипотетического утверждения было решено всей страной передвигаться ползком, а не ходить ногами.

Так бывает?

Оказывается, бывает.

Однако есть в этом что-то настораживающее.

Почему национальной святыней становится то, что препятствует повышению благосостояния народа?

Почему жизненный уровень десятков миллионов крестьян приносится в жертву гипотезе, ставшей догматом?

Выгодно ли для России – глобально – такое положение?

Кофод уверен (думаю, как и многие читатели), что не может быть «благословением» для огромной страны то, что мешает людям жить (и нормально зарабатывать!), хотя сами люди со временем, безусловно, свыкаются с трудностями и по привычке могут их как бы и не замечать.

И если, несмотря на банальность этих недоуменных вопросов, такая ситуация имела место, **значит, чего-то очень важного в нашей истории мы не знаем и не понимаем.**

А надо бы знать.

Из возможных промежуточных выводов выделю следующие.

Во-первых, для русского образованного общества, как его описывает Кофод, абстрактные мысли, адекватность которых никто не верифицировал, были важнее экономической целесообразности.

А если жизненное, бытовое удобство людей и эффективность их хозяйства приносятся в жертву соображениям политическим и морально-нравственным, то это явное свидетельство **повышенной идеологизированности** этого общества. Здесь идеи определяли функционирование экономики, а не наоборот. Легко вообразить приведенный выше разговор в советском ресторане – только вместо преимуществ общины заезжим гостям доказывали бы выгоды колхозного строя.

Во-вторых, среди господствующих идей нет мысли о наделении крестьян теми общегражданскими правами, которые имеет образованное меньшинство, в частности, правом частной собственности. «Благословением» для страны считается отсутствие примерно у 85 % ее жителей полноты таких прав. У общества и в мыслях нет поднять крестьян до своего статуса.

В-третьих, русскому обществу крайне важно быть непохожим на остальное человечество, и община является фирменным знаком этой самобытности.

Однако, в-четвертых, избыточное внимание и доверие к лестным для себя мнениям иностранцев говорит о том, что это общество не только чрезмерно идеологизировано, оно еще и недостаточно уверено в своей исключительности. А это, в свою очередь, – явный показатель комплекса неполноценности.

Диагноз, конечно, не ахти, но тут уж, как есть.

Историю, как и родителей, не выбирают.

Фактически эта застольная беседа русских и датских специалистов по сельскому хозяйству сфокусировала ключевые проблемы нашей невыбираемой истории.

И чтобы понять, почему данный разговор состоялся, что его породило, почему в принципе оказалось возможным, чтобы в последней четверти XIX в. интеллектуальная элита самой населенной страны Европы (и крупнейшей страны мира) считала, что приверженность неким идеям важнее эффективного крестьянского хозяйства, т. е. благосостояния деревни, мы должны понять ту специфичную обстановку, в которой оказалось русское общество за несколько десятилетий до приезда Кофода, т. е. в 1830-1840-х гг.

Строго говоря, ответ на этот вопрос можно уместить на нескольких страницах. Но тогда очень многое останется неясным.

Уж слишком окостенели за полтора века штампы, переходящие из учебника в учебник. Штампами они были не всегда, во времена Александра II и Александра III эти важные вещи были понятны всем, сейчас – немногим.

Это довольно обычная ситуация. Современники так хорошо знают свой мир, что им нет необходимости описывать его детально, и поэтому они сводят его богатство к нескольким абсолютно понятным им тезисам.

Но проходит время, и эти тезисы теряют живое наполнение, спрямляются когда-то понятные связи и детали, и в итоге возникают догматы, штампы, которые ты заучиваешь перед экзаменом, но они не насыщены для тебя жизнью. Вроде постулатов народничества – что стоит за тремя пунктами их программы, от которых давно устали школьные учебники?

Отлично помню, как я зубрил их, готовясь к поступлению на истфак МГУ, и после школы, и после армии, не очень понимая смысл, который разгадывал потом не один год.

Вот, например.

Народничество – господствующее до появления марксизма направление в русском освободительном движении 2-й половины XIX в. Его родоначальники – Герцен и Чернышевский.

В народничестве соединялись идеи утопического социализма с радикальной программой буржуазно-демократических преобразований, причем народники выступали как против пережитков феодализма, так и против буржуазного развития страны.

Народничество возникло под влиянием неудовлетворенности результатами буржуазно-демократических революций на Западе и резкого проявления социальных антагонизмов в капиталистических странах.

Главное в теориях народников – теория некапиталистического развития России и тесно связанная с нею возможность перехода к социализму, минуя капитализм, через трансформацию крестьянской общины, в которой они видели зародыш социализма в силу развитого коллективистского начала. Капитализм трактовался ими как упадок, как регресс.

Наконец, носителем прогресса для народников является интеллигенция. Она – авангард будущей революции. Народ («толпа») – лишь материал в руках «критически мыслящей личности» («героя» из интеллигентов).

Какую-то логику уловить тут можно.

Однако стоит только вдуматься, как возникают вопросы.

Ну, например.

Буржуазно-демократические революции произошли на Западе в 1848–1849 гг. Чем уж так плохи были их результаты, что жители крепостнической или вчера еще крепостнической России остались ими не удовлетворены?

Сколько мы знаем, после этих революций права простого народа расширились (например, крестьяне в ряде стран Европы стали окончательно свободными), уровень его жизни повышался, социалистические партии были легальны и заседали в парламенте, и даже в консервативной Англии в конце концов появились лейбористы.

А какие права имели 85–90 % жителей России, самой отсталой в экономическом плане мировой державы?

Что же не удовлетворяло народников?

Социальные антагонизмы? А что, в тогдашней России их не было?

Почему община – коллектив неграмотных в массе земледельцев – это залог построения социализма, который всегда планировался как новая, более высокая, и даже **самая высокая** стадия развития человечества?

Как можно миновать капитализм и сразу попасть в социализм, т. е., грубо говоря, долететь до Луны на самолете, а не на ракете (для нас это так звучит)?

Как советский школьник, я знал, что без капитализма социализм невозможен, хотя о прыжке Монголии из феодализма в социализм слышал с детства, – но Монголия и тогда не считалась решающим аргументом.

Положим, народники могли этого не знать или не верить в это.

Однако они считали «капитализм в России упадком, регрессом, поскольку он ведет к расслоению крестьян, к их пролетаризации».

А разве до 1861 г. крестьяне были одинаковыми, как наголо постриженные новобранцы в казарме? Судя по русской классической литературе, не были.

И, кстати, – регресс в сравнении с чем? С крепостным правом?

Западная цивилизация в XIX в. переживает расцвет – железные дороги, пароходы, подлодки (все читали Жюль Верна), а в Лондоне с 1863 г. работает метро. И все это – благодаря капитализму!

Что-то не сходится...

Однако современные расхожие представления вряд ли помогут прояснить это недоумение, и мы будем неправы, если, исходя только из них, с порога отбросим народнические взгляды как нечто нелепое.

Ведь то, что во взглядах народников нам сегодня кажется нелогичным и даже несуразным, для тысяч и тысяч образованных русских людей во второй половине XIX – начале XX вв. было неоспоримой истиной. Не говоря уже о том, что, отвергая капитализм, они точно не были в одиночестве.

Отсюда простой вывод – мы не понимаем их точку зрения во всей полноте, нам до конца неясна их система мироздания, а потому заданные мной вопросы не весьма корректны – они смотрели на мир иначе, чем мы смотрим сейчас, и ответы у них, соответственно, были другие.

Одно это – достаточный повод для того, чтобы попытаться понять, чем их не устраивали буржуазные революции в Европе, давшие крестьянам гражданские права, почему они отвергли парламент и т. д.

Поэтому нам придется вспомнить кое-что из русской истории, некоторые ее особенности, некоторые факты, которые странным, на мой взгляд, образом не упоминаются в учебниках.

Без этого реальное – а не императивно внедряемое сверху – содержание на протяжении ста лет – содержание эпохи останется для нас неясным и не понятным в своих самых существенных чертах, а значит, мы будем иметь неверные ответы на важнейшие вопросы нашей истории.

Потому что *корни* ситуации, описанной Кофодом, выросли из той модели социально-политических и экономических отношений, которая установилась на Руси еще в средние века и во многом определила ход нашей истории.

## Часть первая

### Всеобщее закрепощение сословий

Я говорю о феномене *всеобщего закрепощения сословий* в России.

Думаю, что многим читателям данный термин незнаком, что и понятно, поскольку учебники эту тему принципиально игнорируют.

Крепостное право ассоциируется у нас, как правило, *только* с крестьянством. Тот факт, что дворянство, точнее, служилые люди по отечеству, стали крепостными государства раньше крестьян, как минимум, на век, а то и на полтора (как считать), у большинства неисториков вызывает искреннее удивление. О том, что после «Указа о вольности дворянской» Петра III (1762 г.) дворяне получили право не служить, многие слышали, однако понятие «обязательная служба», как правило, не ассоциируется с крепостным правом.

Между тем термин «всеобщее закрепощение сословий» означает, что в течение нескольких столетий, преимущественно в XVI–XVIII вв., большинство, а при Петре I – практически **все население России** – от бояр до крестьян и холопов, от священнослужителей до посадских – **было закрепощено** государством, корпорациями<sup>11</sup> или частными лицами. В большей или меньшей степени, в том или ином виде – но закрепощено.

Это было и причиной, и следствием сложнейшего процесса становления Русского вотчинно-крепостнического государства, процесса тяжкого и мучительного для жителей нашей страны.

Я убежден, что без осознания и учета феномена всеобщего закрепощения, который в огромной степени предопределил все наше прошлое и настоящее, понять историю России невозможно.

Глеб Успенский однажды тонко заметил, что русский крестьянин тащит на себе все 26 томов «Истории» С. М. Соловьева. Думаю, что в 1870-х гг. это относилось не только к крестьянству, но и ко всем жителям страны, а мы в XXI в. тащим еще и тома, которых он не успел написать.

Позволю себе напомнить некоторые известные сюжеты.

Крепостное право – это комплекс юридических норм, устанавливавших и закреплявших личную зависимость человека от его господина.

Диапазон этой зависимости был очень широк в зависимости от места и времени, поэтому термин «крепостное право», покрывающий явления разного порядка, нередко вводит нас в заблуждение.

Если в Западной Европе XI–XV вв. речь идет о сравнительно мягких формах личной и поземельной зависимости, то в Центральной и особенно Восточной Европе – о том, что человек был лишен большей части личных прав, включая право владеть собственностью и совершать от своего имени гражданские сделки, что он был ограничен в передвижениях и не был социально защищен.

Это приближало юридический статус крепостного к статусу раба<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Общинами, церковной иерархией.

<sup>12</sup> Б. Н. Миронов выделяет следующие признаки крепостного права: «1) внеэкономическая, личная зависимость от господина, в качестве которого могли выступать отдельные лица, корпорации и государство; 2) прикрепление к месту жительства; 3) приписывание социального статуса – т. е. свой социальный статус человек получал при рождении; 4) ограничения в правах на владение собственностью и на совершение гражданских сделок; 5) ограничения в выборе занятия и профессии; 6) социальная незащищенность: возможность лишиться достоинства, чести, имущества и подвергнуться телесным наказаниям без суда, по воле господина» (Миронов Б. Н. Историческая социология России: Учебное пособие. СПб., 2009. С. 240–

Емкое объяснение феномена всеобщего закрепощения сословий, на мой взгляд, дал Б. Н. Чичерин. Ввиду особой важности позволю себе привести его целиком:

«Она (Россия – М. Д.) была открыта вторжению азиатских орд и два века состояла под игом татар. Под их владычеством совершилось в ней преобразование вотчины в государство, и это оставило роковую печать на всей ее последующей судьбе. **Для борьбы с татарами потребовалось сильнейшее сосредоточение власти**, которая встречала тем меньше противодействия, что все независимые элементы были подавлены. Отсюда большее развитие начал абсолютной монархии, нежели в какой-либо другой европейской стране.

**Самые отношения государя к подданным** сложились под монгольским влиянием, по типу, неизвестному европейским народам и уместному лишь в восточных деспотиях: это **были отношения господина к холопам**.

Однако и тут не обошлось без борьбы. Вольные слуги, переезжавшие от одного князя к другому и вступающие с ними в свободные договоры, не охотно и не вдруг превратились в рабов. Они упорно отстаивали свое право отъезда, и только свирепая тирания Ивана Грозного сломала, наконец, всякое сопротивление.

**Затем дошла очередь и до остального населения.** Вольным крестьянам точно так же запрещен был переход от одного землевладельца к другому. И они пытались уклоняться от этого побегам, но правительство, по мере сил и средств, разыскивало их и возвращало на прежние места.

Гражданские права их не были ограничены каким-либо общим законом; но господствующее бесправие более и более их заедало, пока, наконец, они не сделались **такими же полными рабами своих помещиков, как последние были в отношении к царю**.

Государство, слагавшееся из бродячих элементов, соединенных весьма слабою связью, старалось всех их закрепить к местам жительства или служения в подчинить их государственным целям.

**Закрепощение бояр и слуг неизбежно влекло за собою закрепощение крестьян**, ибо надобно же было с чего-нибудь нести свою службу. Собственные средства у государства были крайне скудны; жалованья платить оно не могло. Для того чтобы служилый человек, в течении всей жизни состоявший в полном распоряжении правительства, мог отправлять свои обязанности, надобно было наделить его известным количеством крестьян.

**Всеобщее закрепление сословий было неизбежным последствием тех условий, при которых слагалось Русское государство.** Это была тяжелая служба, которую все должны были нести для пользы отечества. Этою службой выросла и окрепла Россия, которая через это сделалась одною из самых могущественных держав в мире.

**В этой суровой школе закалился русский человек, который привык всем жертвовать и все переносить с мужественною стойкостью.**

Но зато он потерял чувство права и свободы, без которого нет истинно человеческого достоинства, нет жизни достойной человека. **Рано или поздно, однако, это требование должно было проявиться у народа, носящего в себе семена высшего развития и сознание своего человеческого призвания».**

«За периодом закрепления последовал период раскрепления, который завершился на наших глазах великим актом освобождения крестьян. Начала права и свободы водворились в гражданской области, но в нравах и понятиях в значительной степени господствует еще прежний тип.

Поньше еще следы монгольского владычества и старых холопских отношений болезненно поражают в явлениях русской общественной жизни. Способ создания государства отразился на всем последующем ходе его развития»<sup>9</sup>.

Развивая эту мысль, Чичерин уточняет, что в России, в отличие от Западной Европы, **«не закон, а власть искони составляла центральное звено и оплот государственного строя.** Это произошло от того, что Россия, при своих огромных пространствах, при скудости и малой развитости населения, представляла хаотическую, бродячую массу, которую можно было сдерживать только внешнею силой. Недостаток внутренней связи заменялся строгим подчинением.

**Отсюда безмерное развитие крепостного права, которое простиралось на все сословия и не оставляло места человеческой свободе. Вследствие этого всякое понятие о праве у нас исчезло.**

Запрещение перехода крестьян без всякой общей меры, само собою, силою вещей, превратило их в полных рабов.

**И со своей стороны, члены высшего сословия, даже знатнейшие бояре, считались холопами Московских царей.**

Вместо уважения к закону, связующим элементом государства было беспрекословное повиновение власти.

Но именно вследствие этого **внешний порядок заступил место внутреннего.**

Всемогущее правительство было бессильно против лихоимства, произвола и притеснений собственных чиновников. Закон безнаказанно обходился и правящими и подчиненными. Одна власть старалась идти наперекор другой, а правосудия нельзя было найти нигде. Беспорядок русского управления сделался общим местом...

Такое положение вещей не могло не отразиться на обществе. **И в нем, вместо уважения к закону, искони господствовали крайности раболепства и своеволия»<sup>10</sup>.**

Эти мысли Чичерин высказал более века назад в трехтомном сочинении «Курс государственной науки», и он был вынужденно лаконичен, поскольку ему важно было объяснить, что называется, на пальцах различия в отношении к праву в средневековой Западной Европе и России.

Понятно, что в наши дни взгляд историков на рассматриваемые им сюжеты существенно усложнился. Тем не менее, полагаю, что полемическая заостренность ряда формулировок Чичерина в контексте данной книги полезна.

Итак, создание и укрепление независимой России было невозможно без полной концентрации в руках государства всех человеческих ресурсов. Это вызвало закрепощение населения – сначала элит, а затем крестьянства, которое обеспечивало несение военной службы боярами и дворянством.

Тяжелейшая борьба за независимость, за достойное место в ряду других стран сформировала русский национальный характер и превратила Россию в одну из великих держав. Однако за это было заплачено дорогой ценой, в том числе потерей «чувства права и свободы».

Вместе с тем народ России нес в себе «семена высшего развития и сознание своего человеческого призвания», поэтому для его реализации народу потребовалась свобода; ощущение своего предназначения – вещь крайне важная.

Настало время, когда Россия стала настолько сильной, что закрепощение изжило себя, и начался обратный процесс – раскрепощения населения, увенчавшийся в 1861 г. освобождением крестьян. Однако психология, порожденная «способом создания государства», не могла вдруг бесследно исчезнуть из жизни страны. Она продолжала влиять на отношения людей и в новую эпоху.

Чичерин опубликовал приведенные выше строки в 1898 г.

Мы знаем, *как* прожила Россия XX век и пятую часть XXI в.

Поэтому позволю себе добавить – именно психологическое наследие прошлого во многом определило и определяет течение нашей истории вплоть до нынешних дней.

В сущности, моя книга – об этом.

## Две ипостаси дворянства

А теперь попробуем вкратце раскрыть точку зрения Чичерина.

Крайне важной является его мысль о том, что в Европе, благодаря феодализму, у людей развивались «чувства чести, права и свободы», в то время как у нас владычество Орды, тирания Иоанна Грозного, всеобщее крепостничество и его эволюция утвердили «привычку к беспрекословному повиновению».

Здесь можно ждать недоуменного вопроса – а разве в России не было феодализма?

Не было – вопреки учебникам. Не было в качестве системы, которая на протяжении веков определяла многие сферы бытия жителей, как это было на Западе.

Можно говорить о зарождении элементов феодализма на рубеже XI–XII вв., которые в Северо-Восточной Руси были прерваны в XIII в. Иногда считают, что эти тенденции оживились в XIV – первой половине XV вв., однако эпоха Ивана III покончила с ними.

Вообще говоря, до 1917 г. ни один из русских историков, кроме Н. П. Павлова-Сильванского, никогда не говорил о феодализме в России. Его отсутствие часто считалось одним из фундаментальных отличий между Востоком и Западом Европы, наряду с католичеством, римским правом и т. д.

Феодализм «вдруг» появился в нашей истории после «Академического дела» 1929 г., когда был репрессирован цвет отечественной исторической мысли, те, кто не умер от голода в 1917–1920 гг. и не эмигрировал: С. Ф. Платонов, Н. П. Лихачев, М. К. Любавский, Ю. В. Готье, М. Д. Приселков и десятки других ученых.

Затем началось волевое внедрение в общественное сознание теории общественно-экономических формаций.

В итоге концепция, разработанная Марксом и Энгельсом на близком и понятном им материале истории Западной Европы, которая давала классические примеры рабства и феодализма, усилиями В. В. Струве и Б. Д. Грекова была механически перенесена на историю России – принципиально иную по большинству базовых позиций, чем история Западной Европы!!!

Так возникла удивительная конструкция – «русский феодализм»: феодализм без феода, т. е. без частной собственности на землю, без *взаимных* строго фиксируемых законом обязательств вассала и сюзерена, без системы опосредования высшей власти, дающей права сословиям, и очень многого другого.

Общим с Западной Европой было одно – ограничение прав крестьянства, его сословная неполноправность, но это явление наблюдается в мировой истории едва ли не со времен Гильгамеша на разных широтах и в разные эпохи. Однако при этом на Западе – феодализм с земельной зависимостью крестьян, в основном закончившейся в XV веке, а у нас – российское крепостничество, иногда приближающееся к рабству, иногда – равное ему. А это совсем не одно и то же.

И ежегодно с 1 сентября миллионам школьников и студентов снова рассказывают о «раннефеодальном государстве Киевская Русь», о «феодально-крепостническом строе», пережитках феодализма и пр., из чего явно и неявно следует, что наша история, хотя и имеет некоторые второстепенные отличия, но, в общем, такая же, как в Западной Европе.

Однако реальные факты никак не укладываются в эту схему.

Дело в том, что из основанного на законе феодального строя естественно вырастают правовое государство и гражданское общество, а из вотчинно-крепостнического, – нет, да и сейчас растут, как можно видеть, с огромным трудом.

Феодализм рождает рыцарство, рождает, условно говоря, Айвенго, Квентина Дорварда и четырех мушкетеров, чья жизнь не отделима от чувства «чести, права и свободы», а вот-

чинно-крепостническое государство – материализацию формулы «яз, холоп твой» со всеми многочисленными последствиями.

Мысли Чичерина делают понятнее тот очевидный факт, что в 1240 г., когда Батый взял Киев, Русь, в общем, была свободной страной, хотя в ней, разумеется, как и во всех европейских странах, были зависимые люди. А через 240 лет как бы вышедшее из монгольского ига единое Русское государство во многом оказалось православной калькой с Золотой Орды.

Первой в зависимость от государства попала элита.

Иван III (1462–1505) на глазах одного поколения русских людей – за 25 лет – присоединил к Москве почти все земли Северо-Восточной Руси. Окончание удельного периода и образование единого государства стало началом самодержавия, поэтому в эпоху Ивана III – корни всей последующей русской истории.

Он стал господином, вотчинником государства, и это резко изменило модус его отношений со знатью, которая из товарищей, сподвижников великого князя быстро превратилась в его слуг, точнее, холопов. Они и начали теперь именовать себя его холопами и подписываться уменьшительными именами (например, «Васюк Шуйский»).

До Ивана III бояре и вольные слуги имели право свободного отъезда, т. е. могли переходить от одного князя к другому, причем их земельные владения оставались, как считается, экстерриториальными. Иван III начал препятствовать переезду бояр даже к своим родным братьям, а отъезд в Литву стал считаться государственной изменой<sup>13</sup>.

Социальной базой Ивана III стало войско из поместного дворянства, созданного им в массовом масштабе.

Это потребовало радикального изменения отношений собственности в стране. Проблему испомещения (размещения) дворян Иван III решил за счет вновь присоединяемых к Москве территорий.

На этих землях широко практиковался «вывод», т. е. переселение части местных землевладельцев и купцов во внутренние московские города. Больше всего от этой политики пострадал Новгород. До конца 1480-х гг. из 30-тысячного Новгорода было выведено свыше 8 тысяч представителей боярства и купечества, расселенных во внутренних городах и уездах (в Москве, на Лубянке, например, жили выселенцы из Новгорода).

Их громадные вотчины, как и земли Новгородской церкви, вопреки данному в 1478 г. обещанию, были конфискованы. В 1489 г. были выведены вятчане, «земские люди», получившие земли на юго-западной окраине, а вятские купцы были переселены в Дмитров.

Конфискованные земли великий князь передавал своим слугам (дворянам) в поместье, за что они обязаны были нести военную службу. Тем самым на этих территориях, с одной стороны, подрывалась социально-экономическая база возможной оппозиции Москве, а с другой, создавалась надежная опора великокняжеской власти и в то же время увеличивалась численность дворянского ополчения (поместного войска), ставшего основой армии.

Поместье, в отличие от вотчины, было условной собственностью, его нельзя было ни продавать, ни передавать по наследству, ни дарить, ни завещать в монастырь на помин души.

Создание поместной системы стало началом **огосударствления земельной собственности** в масштабах страны.

---

<sup>13</sup> Иван III был безжалостным правителем, и в первую очередь по отношению к своим родичам. Таков был наложившийся на семейную генетику урок, вынесенный им из династической войны 2-й четверти XV в. – жестокой борьбы двух линий потомков Дмитрия Донского. Мы знаем, что он приговорил к смерти своих родичей по литовской линии – отца и сына князей Патрикеевых (родоначальников князей Голицыных и Куракиных), которых спас митрополит, вымоливший для них постриг в монахи. А вот князь Семен Рязановский-Стародубский был казнен. Родного брата Андрея Иван III попросту уморил голодом, а племянников, его сыновей, продержал в заключении 30 лет. Не зря Д. Н. Борисов в своей книге «Иван III» одну из глав назвал «Палач».

Зародившись на северо-западе Руси, поместье очень быстро проникло во внутренние уезды, и считается, что в середине XVI в. площадь поместий относилась к площади вотчин как шесть к четырем.

Параллельно Власть начала массированное наступление на права церковных и светских вотчинников, все больше стесняя их право распоряжения родовыми землями. Служба теперь стала обязательной для всех землевладельцев, т. е. и для бояр также.

Усилиями Ивана III, Василия III и Ивана Грозного к середине XVI в. ни светская, ни церковная вотчина не имели правовой защиты, что практически доказала опричнина с ее конфискациями, выселениями и переселениями. Самый знатный человек мог лишиться собственности в любой момент, часто – вместе с жизнью.

Де-факто к концу правления Ивана Грозного *вся земельная собственность в стране была огосударствлена* – насколько это было возможно в конце XVI в.

Это чрезвычайно важный итог становления самодержавия. Не нужно специально пояснять, как это укрепило позиции государства.

Служилые люди, подобно натуральной повинности, несли *обязательную* военную службу, не вознаграждаемую никакими гражданскими привилегиями, порядок которой был окончательно разработан в Уложении о службе 1556 г.

Служба начиналась с 15-ти лет, когда «недоросль» становился «новиком», и была пожизненной. У тех, кто уклонялся от службы, землю отбирали и пускали в раздачу. Те, кто не являлся на службу (их звали «нетчиками», потому что в списке против их имени ставилась помета «нет»), подвергались наказанию батогами и/или лишались поместья.

Помещик владел поместьем, пока нес службу в армии. Если у него не было взрослого сына, который мог бы принять на себя обязательства отца, то земля уходила в казну и перераспределялась. Поместье не должно было выходить из «службы».

Вместе с тем естественное желание дворян людей закрепить землю за своей семьей было очень сильным, поэтому – если была такая возможность – служебные обязанности де-факто могли перелagаться на зятьев и родственников. Как говаривал С. Ю. Витте, «это слишком по-человечески».

Итак, служилые люди по отчеству, т. е. помещики, были крепостными государства, и это постепенно привело к закрепощению значительной части крестьян, поскольку только они могли стабильно обеспечивать потребности солдат-дворян и их семей.

Важно понимать, что создание поместной системы было вызвано объективными причинами, а не было только плодом, скажем, скверного характера Ивана III и его потомков.

Дело в том, что Россия того времени – отрезанная от морей бедная страна с огромной территорией, редким населением и слабой торговлей, не имеющая *никаких* залежей цветных металлов и вынужденная веками ввозить не только медь, свинец и олово, но и серебро. Власть не имела возможности платить армии полноценного жалованья, как это было в куда более богатых странах Запада.

Поэтому поместье стало своего рода натуральной платой за военную службу. Однако эту специфичную зарплату требовалось еще и материализовать – превратить в еду, дом, одежду, вооружение и т. д.

Сделать это могли прежде всего крестьяне (хотя на Руси пахали и дворяне), однако они еще были свободными. Судебник 1497 г. лишь официально распространил на всю страну уже существовавшую норму о возможности ухода от помещиков в течение плюс-минус недели от Юрьева дня осеннего (26 ноября ст. стиля) с уплатой 1 рубля пожилого землевладельцу. Судебник 1550 г. повторил ее, увеличив пожилое до 1,5 рублей.

Забегая вперед, отмечу, что Иван III, несомненно, закрепостил бы крестьян, имей он такую возможность. И хотя, сломав многовековую историю Руси и судьбы десятков тысяч

людей, он **делом** показал подданным, «кто тут хозяин», прикрепить земледельцев к поместьям ему было не по силам.

Сделать это власть смогла лишь в 1590-х гг., когда население было обессилено безумным правлением Ивана Грозного – более чем 30-летние непрерывные войны и ужасы опричного террора привели к тому, что в науке называется «хозяйственным разорением и запустением русских земель 1570-1580-х гг.».

Слова Чичерина о том, что «самые отношения государя к подданным сложились под монгольским влиянием... это были отношения господина к холопам», хорошо иллюстрируются известным сообщением посланника Священной Римской империи Сигизмунда фон Герберштейна о Василии III: «Властью, которую он применяет по отношению к своим подданным, он легко превосходит всех монархов всего мира... Всех одинаково гнетёт он жестоким рабством... Он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех; из советников, которых он имеет, ни один не пользуется таким значением, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле. Они открыто заявляют, что воля государя есть воля Божья и что ни сделает государь, он делает по волей Божией... Равным образом, если кто-нибудь спрашивает о каком-нибудь деле неверном и сомнительном, то в общем обычно получает ответ: «Про то ведаёт Бог да великий государь»<sup>11</sup>.

Иван Грозный довел эти тенденции до невыносимых для христианской страны той эпохи пределов.

Он не просто в корне изменил традиционные нормы отношений между государем и элитой, он не гнушался лично участвовать в пытках и убивать своих бояр, не говоря о простолюдинах. Реально его правление продемонстрировало, что произвол власти может не иметь границ – как Космос (оставляя в стороне вопрос о том, насколько люди XVI в. мыслили в таких категориях).

Опричнина и ее продолжение после 1572 г. ясно показали, что никто в стране – включая царского сына – не защищен от самой жестокой смертной расправы.

Трудно сомневаться в том, что опричнина задала, если так можно выразиться, определенный стандарт государственного бесчеловечия, не говоря о стандарте ужаса.

Гражданская война начала XVII в. (Смута) разрушила старый социальный порядок, однако после ее окончания он стал быстро возрождаться, а в 1649 г. Соборное Уложение закрепило крепостное право крестьян и посадских людей, прикрепив их к месту жительства (при этом кое-какие права за крестьянами оставались).

Телесные наказания по-прежнему равно распространялись на людей без различия чинов. В том числе служилые люди всех категорий как царские холопы, по обычному московскому порядку, подлежали телесным наказаниям<sup>14</sup>, которые считались нормальным средством устранения любых неполадков<sup>12</sup>.

Разумеется, неверно представлять Россию своего рода огромной Веселой башней из повести Стругацких «Трудно быть богом», в которой круглосуточно шли бесконечные расправы.

Вместе с тем насилие было неотъемлемым компонентом русской жизни. Нэнси Коллманн, отнюдь не склонная преувеличивать различия между Россией и Европой в правовой сфере<sup>13</sup>, в своей монографии об уголовном судопроизводстве XV – начала XVIII вв. отме-

---

<sup>14</sup> В Соборном Уложении 1649 г. прямо говорится, что если бояре и воеводы без указа государя начнут отпускать со службы ратных людей и «брать с них за это посулы и поминки, то им чинити жестокое наказание, что государь укажет» (гл. VII, §11). При этом Уложение смягчает степень наказания людям высших разрядов. (*Ступин М.* История телесных наказаний в России от Судебников до настоящего времени. Владикавказ. 1887. С. 20). Котошихин пишет, что за разбой, пожар и другие преступления пытали всякого «какого чину ни буди: князь или боярин, или и простой человек».

чает, что «насилие буквально пронизывало Россию изученного периода... Россия была в данный период социумом с очень высоким уровнем насилия, поскольку крепостное право было основано на насилии, вне зависимости от того, насколько широкой автономией пользовались крестьянские общины на практике. Землевладельцы наказывали крепостных кнутом; главы семей тиранически управляли молодежью и женщинами своих деревень; государство выслеживало и ловило беглых крепостных. Такой тип делегированного государственно-санкционированного насилия был изначально присущ российскому проекту государственного строительства»<sup>14</sup>. Добавлю, что с этим проектом органично сочетались и другие виды насилия.

Известный богослов и публицист XVII в. Юрий Крижанич, мечтавший о том, что Россия возглавит борьбу славянских народов против немецкой угрозы и приехавший в Москву с этим проектом, был поражен тем, что увидел: «Во всем свете... нет такого крутого правительства, как в России... всякое место наполнено кабаками, заставами, откупщиками, целовальниками, выемщиками, тайными доносчиками: люди отовсюду и везде связаны... все должны делать со страхом и трепетом... укрываться от толпы правителей или палачей»<sup>15</sup>...

Едва ли не больше он был потрясен холопским положением элит, абсолютно невозможным в Европе.

Его эмоции вполне понятны.

Рафаэль Барберини еще в 1565 г. удивлялся тому, что царь «приказывает сечь, растянув за земле, знатнейших бояр... Нет почти ни одного не высеченного чиновника, но они не гонятся за честью и больше чувствуют побои, чем знают, что такое стыд»<sup>16</sup>.

Раболепство придворных поражало иностранцев, отмечавших, что «самые турки... не изъявляют с более отвратительной покорностью своего принижения перед скипетром султана»<sup>17</sup>. До 1680 г. в дворянских челобитных сохранялась фраза: «Чтобы государь пожаловал, милосердился как Бог».

Поэтому, выдвигая программу преобразований страны, Крижанич говорит о необходимости повышения достоинства дворянства и, в частности, считает необходимым, чтобы «князья, бояре, боярские дети могли писаться полными, а не уничижительными именами, были освобождены от наказания кнутом, батогами, клеймения, отнятия члена, пытки и смертной казни, а наказывались бы только ссылкой и отнятием почестей и должностей»<sup>18</sup>. Однако реализована эта программа была только через столетие – при Екатерине II.

Если так обращались с элитой, то легко представить, каким было положение остального населения. Понятно, что схема отношений царя со знатью автоматически репродуцировалась по нисходящей.

### **Так на всех уровнях самовоспроизводилось крепостное право.**

Поскольку в обществе не было уважения к правам личности, то и телесные наказания не имели того позорящего значения, которое существовало в Западной Европе (попытаемся представить героев Дюма, на которых кто-то поднимает руку).

Петр I, вступив на престол, унаследовал этот порядок, при котором жестокость была условием выполнения любого дела, хоть частного, хоть государственного, и усилил его до максимума.

Об этом написано так много, что я лишь напомню о том, что важно для нашего текста.

В строительстве той России, о которой он мечтал, должны были участвовать *все* ее жители, *все* его подданные, и именно *таким* образом, какой он считал целесообразным.

Дворянство обязано было постоянно служить и давать кадры военных и гражданских чиновников, купечество – платить и давать кадры менеджеров, желательно эффективных, крестьянство – платить подати и поставлять солдат и рабочих для бесчисленных строек необъявленных петровских пятилеток, а урезанное в правах и численности духовенство – молиться за победу православного оружия и следить за оппонентами власти.

Петр окончательно закрепостил население страны.

Он максимально ужесточил государственные требования ко всем категориям населения, в том числе и к служилым людям, доведя всеобщее закрепощение сословий как архаичную мобилизационную систему до уровня определенного «регулярства».

Он уничтожил старый порядок, при котором государственные повинности падали не на все население. В армии и на флоте теперь служили те, кто раньше не служил, а налоги платили те, кто прежде не платил; – для увеличения контингента плательщиков подушной подати и рекрутов он ликвидировал холопство (холопы несли повинности только в пользу своих господ) и маргинальное состояние вольных-гулящих людей<sup>15</sup>.

Такова была плата за Империю.

В результате Северной войны в России появилась регулярная армия и флот европейского уровня, а их сохранение и развитие в будущем стали для Петра I приоритетом.

Весьма серьезно изменилось положение служилых людей, превратившихся в дворян.

Они по-прежнему служат бессрочно – до «дряхлости или увечий», но меняется сам характер службы – из периодической она становится круглогодичной и для всех начинается с низшей солдатской ступени.

При этом де-факто они по-прежнему могли лишиться своих земель, не обладая правом собственности на них, и подвергнуться репрессиям, вплоть до смертной казни.

Указ о единонаследии 1714 г. уравнивал поместье и вотчину. Первое стало наследственным владением, и указ разрешал наследовать недвижимое имущество лишь одному из сыновей, а не всем, как было раньше. Это должно было создать армию военных и гражданских чиновников, которые не имели бы отныне иного источника доходов, кроме жалованья.

Появляется чиновная номенклатура. Петр с самого начала своего царствования исповедует принцип служебной годности человека в противовес знатности и закрепляет эти тенденции в «Табели о рангах» 1722 г., радикально расширившей социальную базу Империи.

Кроме того, с 1714 г. дворянские дети обязаны учиться под угрозой запрета женитьбы. Петр считал, что только сочетание службы и образования делает человека благородным.

А что до службы, то она была настолько тяжелой, что немалая часть дворян, не хотевшая, условно говоря, 365 дней в году стоять под ружьем, уклонялась от нее, как могла.

Один за другим следовали указы о карах за неявку на смотры и службу, сама частота которых лучше всего говорит о масштабе проблемы. «Нетчики» были постоянной тревожной заботой Петра I.

Он боролся с ними весьма сурово, используя широкий диапазон угроз и взысканий – от «жестокое наказания и разорения» до конфискации имущества и лишения прав состояния, причем одновременно он стремился материально поощрять доносчиков, получавших имущество объекта доноса. И эти угрозы не были пустыми словами. Известно, что при Петре 20 % поместий сменили хозяев.

Более того, указ 11 января 1722 г. фактически поставил «уклонистов» вне закона и приравнял к изменникам. *Не явившиеся на смотр «будут шельмованы, и с добрыми людьми ни в какое дело причтены быть не могут, и ежели кто таковых ограбит, ранит, что у них отымет, и у таких, а ежели и до смерти убьет, о таких челобитья не принимать и суда им не давать, а движимое и недвижимое их имени отписаны будут на Нас бесповоротно».*

Их имена должны быть «для публички прибиты к виселицам», а те, кто их поймает и сдаст властям, получают половину их имущества, хотя бы это были «их собственные люди»<sup>19</sup>.

<sup>15</sup> Пестрая социальная категория, куда входили отпущенные на свободу холопы, слуги, пленные и все, кто по каким-то причинам не был записан в писцовые книги, и др. Они были нетяглыми, т. е. никому не платили податей. (Анисимов Е. В. Петр Великий: личность и реформы. СПб., 2009. С. 224; Границы и маркеры социальной стратификации России XVII–XX вв.: векторы исследования / [под ред. Д. А. Редина]. – СПб.: Алетей, 2018. С. 129–130).

Нежелание служить было так велико, что известны случаи, когда дворяне записывались в купечество, в однодворцы, странствовали по России, скрывая свое дворянство и даже «поступали в дворовые к помещикам»<sup>20</sup>.

Обычным делом при Петре был приказ гвардейскому капрану арестовать виновных в упущениях чиновников вплоть до московского вице-губернатора и «держать в цепях, и в железах скованных», пока «совершенно не исправятся»<sup>21</sup>, наказание кнутом, клеймение и «вечная ссылка» за нарушение царского запрета рубить лес<sup>22</sup>.

В 1722 г. в Великолукской провинции по подозрению в сокрытии от переписи людей, по царскому указу, «было подвергнуто пытке и бито кнутом или палками 11 дворян и 85 крестьян, из них от побоев умер 1 дворянин и 10 крестьян; арестовано 7 дворян и 6 дворянских жен и детей, из них один скончался от ужасных условий содержания»<sup>23</sup>.

Как известно, всю жизнь Петр I собственноручно избивал своих подданных разного звания и положения, а бывало, и граждан других стран. Вторые не всегда переносили это так спокойно, как первые. Когда Петр ударил палкой нанятого им для строительства Петербурга гениального архитектора Ж.-Б. Леблона, тот умер от унижения и позора<sup>24</sup>.

Поэтому прав, конечно, А. В. Романович-Славатинский, замечая, что шляхетство в ту эпоху «находилось почти в *такой же крепостной зависимости от правительства, в какой от него крестьяне*»<sup>25</sup>.

Однако.

Однако мы должны понимать и то, что, обратив всех в полных рабов, Петр создал великую державу.

Что благодаря ему у русских дворян и, можно думать, у русского народа появилось доселе не очень им знакомое и крайне важное *чувство победителей*, причем не кого-нибудь, а могучей шведской армии во главе с героем тогдашней Европы Карлом XII.

В прошлом остались времена, когда к русским дипломатам при европейских дворах относились с нескрываемым пренебрежением.

Это чувство со временем укрепит слава Семилетней войны, победами над турками, присоединением Крыма, созданием Новороссии и разделами Польши.

Я, избави Бог, сейчас не пытаюсь сказать, что обретенное государственное величие оправдывает страдания подданных и самые настоящие измывательства над ними – я более, чем далек от этой столь любимой сталинистами схемы.

Я лишь хочу подчеркнуть, что вне этого чувства победителей, без учета этих эмоций – нам не понять людей XVIII–XIX вв.

Правление Петра I стало вторым после Ивана Грозного апогеем самодержавия в нашей истории.

Все вышесказанное позволяет коснуться одной важной проблемы.

Даже в профессиональном сообществе понятия «самодержавие» и «абсолютизм» зачастую используются практически как синонимы и редко дифференцируются. Это – тоже результат волевого внедрения с 1930 г. решением Сталина теории общественно-экономических формаций в русскую и мировую историю, что породило перманентную «разруху в головах» наших соотечественников.

В результате правление Алексея Михайловича, который «всего лишь» установил крепостное право, в учебниках трактуется как «зарождение абсолютизма», а царствование его сына Петра I, железной рукой проведшего преобразования, кардинально изменившие страну, – как «утверждение абсолютизма».

Попробовал бы, к примеру, «король-солнце» Людовик XIV («государство – это Я») построить не то, что Петербург, но даже Таганрог, или флот в Воронеже (условные), или выко-

пать пару каналов петровскими методами во Франции!<sup>16</sup> Об «Утре стрелецкой казни» и не упоминаю. Надо думать, участь Бастилии решилась бы тогда намного раньше 1789 года!

В действительности, абсолютизм – это синоним европейской монархии по Монтескье. Это если и не правовое государство, то государство, которое стремится стать таковым.

А самодержавие – это возможность *по воле царя* устроить и опричнину, и провести петровские преобразования, и росчерком пера сделать десятки тысяч государственных крестьян военными поселянами и многое-многое другое.

Первый абсолютный монарх в России – Александр II, который начал трансформацию страны в правовое государство! И тоже, замечу, по *своей* воле.

После смерти Петра I начинается постепенное раскрепощение дворянства (а также духовенства и горожан), служить становится легче, петровские строгости понемногу смягчаются.

По мнению А. Б. Каменского противоречивость реформ Петра, модернизационных по сути, но проводившихся путем громадного усиления крепостничества, сильнее всего отразилась на дворянстве. С одной стороны, оно получило условия для превращения в «полноценное сословие», а с другой, оказалось в куда большей зависимости от государства.

Вместе с тем «мир новых идей, который стал известен дворянину петровского времени, светское образование, которое он теперь получал, возможность познакомиться с жизнью собратьев по сословию за границей – все это заставило русских дворян задуматься над своим положением, сословными нуждами и интересами.

С Петра процесс складывания дворянства как единого сословия начинается как процесс консолидации русского дворянства. **Суть его была в постепенном обретении сословных прав и привилегий и одновременном освобождении от государственного рабства, что означало начало борьбы дворянства с государством за свою свободу, под знаком которой прошло все XVIII столетие.**

Борьба эта имела определяющее значение для исторических судеб страны и стала возможной благодаря тому, что те же условия, которые обеспечивали процесс становления дворянского сословия, и прежде всего привилегированный правовой статус, превратили его и в самостоятельную политическую силу»<sup>26</sup>.

В 1736 г. пожизненная служба дворян сокращается до 25 лет, а 18 февраля 1762 г. Петр III подписывает «Манифест о даровании вольности и свободы благородному российскому дворянству», само название которого лучше всего говорит о том, что оно дворянство доселе не имело ни того, ни другого.

«Манифест» уничтожил обязательность службы и разрешил неслужащим дворянам выезжать за границу. То есть дворяне официально перестали быть крепостными государства, что, в числе прочего, подрывало моральное обоснование крепостного положения крестьян, работа которых на господина прежде оправдывалась его службой государству.

С 1760-х гг. начинается отсчет первого, а с 1780-х гг. – второго поколения «непоротых русских дворян». Первое поколение дало генералов-героев 1812 г., второе – офицеров-героев 1812 г. и старших декабристов.

Наконец, в 1785 г. Жалованная грамота дворянству официально закрепила сословные права дворян, в том числе и дарованное им в 1782 г. право собственности на землю.

То есть за полвека после Петра I положение дворянства радикально изменилось – *юридически оно стало свободным*. Самодержавие пошло на ограничение своей власти.

Но здесь самое время подумать над промежуточным вопросом: *какие человеческие типажи успели сформироваться за 300 лет такой истории?*

---

<sup>16</sup> О том, как жили и трудились строители Петербурга см. *Анисимов Е. В.* Его Величество. «Юный град. Петербург времен Петра Великого». СПб., Дмитрий Буланин. 2003. С. 105–112 и др. Замечу, что 30 тыс. рабочих, строивших Версаль, жили и работали, конечно, в других условиях, начиная с климатических.

Часть ответа очевидна – такие, которые носили в себе все следы оскорбительного, пренебрежительного отношения государства к человеку и его правам и в целом и в бесчисленных частностях.

Могли ли забыться вчерашние, позавчерашние и более давние незащищенность, издевательства и др.?

Уместно также спросить, могло ли что-то всерьез измениться в сознании дворян от того, что их перестали пороть?

Могло – и постепенно стало меняться.

Широко известно мнение В. О. Ключевского о петровских преобразованиях: «Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозой власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, **хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная**»<sup>27</sup>.

Спора нет – во множестве случаев раскрепощаемый, а позже освобожденный раб продолжал психологически оставаться рабом. Однако у части дворян, поначалу, естественно, меньшей, чтение и приобщение к культуре, полученной благодаря Петру, постепенно родило то самое чувство собственного достоинства, об отсутствии которого как о примете русского средневековья говорит Б. Н. Чичерин.

Характерно в этом смысле, как князь М. М. Щербатов уже в екатерининское время рассуждал о петровском рукоприкладстве. Царь бил приближенных, пишет Щербатов, «не разбирая ни роду, ни чинов», что противоречило обычаям, им же и введенным, потому что «многие из нас, конечно, восхотят скорее смертную казнь претерпеть, нежели жить после палок или плетей», пусть даже нанесенных «священными руками и под очами божия помазанника».

«Всякой век имеет свои нравы, а век тот, который застал Петр Великий и с воспитанными в коем людми жил, был таков, что побои не инако, как по болезни почитали, не считая их себе в бесчестие, хотя бы те и кацкими (палаческими – М. Д.) руками были учинены».

Из разрядных книг известно, продолжает историк, что «иных» после наказания плетью «отсылали к тому головою, с кем местничался», а «иных» за какую-нибудь провинность ставили под виселицей и палач бил их по щекам. Их имен Щербатов называть не хочет, дабы не огорчать их потомков, но тогда это было обычным делом, людей эти наказания не бесчестили, «и они по-прежнему в чины и должности употреблялись».

Поэтому неудивительно, что Петр Великий со своим «горячим» нравом вел себя с другими в духе времени и «сам воспитанию своему уступал». Щербатов знал многих из «претерпевших такие наказания», но ни один из них за эти побои не «пожаловался на Петра Великого или бы устыдился об оных сказать, или бы имел какое озлобление на него; но всех паче видел я исполненных любовью к нему и благодарностию.

А сие и доказует, что сей поступок не в порок особе Петра Великого должно приписать, но в порок умоначертанию тогдашнего времени»<sup>28</sup>. Как можно видеть, эволюция чувства собственного достоинства русской элиты здесь очерчена весьма наглядно.

Впрочем, у многих дворян это чувство появилось и зримо проявилось, по меньшей мере, уже в 1730 г., когда членами Верховного Тайного Совета была предпринята попытка ограничения самодержавия Анны Ивановны, хотя и неудачная.

Далее оно развивалось во многом благодаря более гуманным, в сравнении с петровским, правлениям Елизаветы Петровны и Екатерины II.

В лице своих лучших представителей дворянство демонстрировало не только европейский уровень образования, но и достаточно независимый стиль отношений с носителями верховной власти.

Таковы братья Никита Иванович и Петр Иванович Панины, которые родились еще при Петре (соответственно в 1717 и 1721 гг.) и не раз оппонировали Екатерине II.

Таковы отстоящие от них на поколение братья Александр Романович и Семен Романович Воронцовы, родившиеся при Елизавете – в 1741 и 1744 гг.

Однако не будем *лучших* отождествлять со *всеми* и преувеличивать масштабы психологического раскрепощения дворянства – оно только начиналось и явно отставало от юридического.

Тот же М. И. Кутузов (1745–1813), по слухам, лично варил фавориту Екатерины II Платону Зубову кофе, и говорят, что «зубовская фаворитка» – обезьянка, сживала у него на парике со всеми вытекающими – в прямом и переносном смыслах – последствиями. Впрочем, тут Кутузов был не одинок.

Павел I попытался воскресить многое из того, что уже начало забываться. Его царствование во многом было попыткой вернуть дворянство в прошлое – не буквально в петровское время, конечно, но как бы в стилистику страха.

Однако в одну реку не входят дважды, и дворяне – как умели – продемонстрировали Павлу, что его самодержавие ограничено их удавкой.

Предвижу возражение – а разве дворцовые перевороты не говорят о свободном сознании дворянства? Думаю, что нет. Ведь и преторианцы в древнем Риме – отнюдь не свободные люди. Это рабы, сделавшие бунт доходным ремеслом.

И здесь уместно привести один весьма интересный документ.

В 1801 г. посол России в Англии граф С. Р. Воронцов в напутственном письме сыну Михаилу, который уезжал из Лондона начинать «взрослую» жизнь на родине, предупредил его, что он увидит страну, которая резко отличается от Англии, где тот вырос и где «люди подчиняются лишь закону, перед которым равны все сословия и где для человека естественно чувство собственного достоинства».

**У нас – невежество, дурные нравы как следствие этого невежества и форма правления, которая, унижая людей, отказывая им во всяком возвышении души, приводит их к алчности, чувственным наслаждениям и к самой гнусной низости, и к заискиванию перед любым могущественным человеком или фаворитом государя.**

**Страна слишком велика для того, чтобы государь, будь он хоть новым Петром Великим, мог все делать сам, без конституции и твердо установленных законов, без независимых судов, чьи решения были бы непреложны».**

В силу природы русской власти он вынужден опереться на «самого приближенного министра», который становится чем-то вроде великого визиря и повсюду назначает своих родичей и друзей, которые «будучи уверены в силе этой протекции и в своей безнаказанности, становятся пашами. Весь двор лежит у ног визиря, а вся империя следует его примеру».

Нация униженная, ослабленная, утопающая в роскоши и долгах, обладает в то же время такой легкостью характера, что она забудет ужас деспотизма, от которого страдала, когда ей разрешат носить круглые шляпы и туфли с загнутым носком.

Вы увидите, как они разговаривают настолько же свободно, насколько были раньше мрачны, запуганы и молчаливы, а поскольку нынешний государь хорош, они считают себя действительно свободными, не задумываясь над тем, что у человека может измениться характер, или что ему унаследует новый тиран. **Нынешнее состояние государства есть ничто иное, как приостановленная тирания, а наши соотечественники подобны римским рабам в дни Сатурналий, после которых они вернутся в свое обычное рабство»<sup>29</sup>.**

Этот хирургически безжалостный и точный анализ рисует картину слегка европеизированной восточной деспотии, при этом картину не абстрактную, а в высшей степени конкретную – ведь не прошло еще и двух месяцев после убийства Павла I.

В 1802 г. М. М. Сперанский писал Александру I следующее: «Я бы желал, чтоб кто-нибудь показал **различие между зависимостью крестьян от помещиков и дворян от государя; чтоб кто-нибудь открыл, не все ли то право имеет государь на помещиков, какое имеют помещики на крестьян своих...**

Вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч, **я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов»**<sup>30</sup>.

Несложно увидеть, насколько созвучны мысли Сперанского в 1802 г. тому, что писал Воронцов-старший в 1801 г.

Вместе с тем оба «непоротых» поколения, вступивших в жизнь в конце XVIII – начале XIX вв., в лице своих лучших представителей никоим образом не ощущало себя рабами верховной власти. Для них Россия – не деспотия, а европейская монархия в понимании/определении Монтескье, император – монарх, а они – дворяне-носители принципа Чести, системообразующего начала монархии.

Их понимание чести соответствует формуле того же Монтескье: желание почестей при сохранении независимости от власти. Честь, несомненно, ключевое понятие, на которое замкнуто все мироощущение множества дворян той эпохи.

Они ясно различали понятия «Государь» и «Отечество». Приверженность «собственно Государю» и «любовь к отечеству» не тождественны друг другу. Эти понятия могли совпадать, точнее накладываться друг на друга, а могли и не совпадать. Характерно сделанное в 1812 г. замечание Воронцова: «Приятно жертвовать жизнью, когда любовь к Отечеству ничем не отделяется от любви к своим Государям и ничто иное, как одно и то же»<sup>31</sup>.

Они чувствовали себя слугами престола, но не рабами, хотя жизнь, конечно, иногда вносила коррективы в это мироощущение.

Отмечу, что 10 лет непрерывных войн, которые Россия вела в 1804–1815 гг., заметно повысили у дворянства чувство ответственности за судьбы страны, а значит, и собственной значимости, чем отчасти и порожден феномен декабризма. Не зря цесаревич Константин Павлович считал, что война портит армию – у людей неизбежно повышается число степеней свободы.

Однако сейчас я говорю о *лучших* из дворян, а лучшие всегда в меньшинстве. Показателен следующий эпизод.

В 1814 г. генерал-адъютант Винценгероде в горячности дал пощечину одетому в солдатскую форму офицеру, обидевшему хозяина квартиры-саксонца, несмотря на жесткий приказ вести себя с местными жителями дружелюбно. Генерал принял его за солдата<sup>17</sup>. Будущий декабрист С. Г. Волконский объяснил любимому им начальнику, что тот оскорбил офицера, и «тогда добрый старик» предложил офицеру дуэль, несмотря на разницу в званиях, что законом категорически запрещалось – «благородный поступок, не оправдывающий, но некоторым образом уменьшающий вину Винценгероде».

Увы, офицер предпочел просить генерала о том, чтобы тот «при случае не забыл» представить его к награде. Волконский пишет: «Тут уже я покраснел за соотечественника и внутри себя не мог не сказать себе, что этот подлец не заслуживал моего соучастия»<sup>32</sup>.

<sup>17</sup> Офицер раньше служил в дивизии Аркадия Суворова, сына великого полководца, воевавшей с турками, в которой по приказу командира все офицеры носили солдатские мундиры, чтобы затруднить работу туркам-снайперам. Первым подобный приказ отдал, кажется, Г. А. Потемкин.

Характерно и замечание, сделанное в 1816 г. Михайловским-Данилевским, сопровождавшим Александра I в поездке от Петербурга до Волыни. Если в Москве царю представилось 42 дворянина, то в Житомире, «весьма посредственном губернском городе» – 200. При этом в Житомире предводитель дворянства граф Илинский «произнес прекрасное приветствие его величеству, в то время как предводители в семи великороссийских губерниях не могли при государе отворить рта и только низкими поклонами показывали свою преданность. Они более являли из себя метрдетелей, занимавшихся угощением, нежели представителей дворянства.

У одного из них император спросил, почему он не был на смотре войск, происходившем поутру. – «Я распоряжался столом для вашего величества», – отвечал предводитель»<sup>33</sup>. А ведь губернские предводители дворянства – очень важные персоны в то время, их и было менее 50-ти человек на всю Империю!

Но, как видим, некоторым из них привычнее была роль старого графа Ростова, затевавшего обед для Багратиона, чем старого князя Болконского.

При этом большинство дворян не ощущало свою зависимость от престола как нечто дискомфортное, отчасти потому, что это, в свою очередь, делало их повелителями крестьян и подначальных; так, в частности, проявляется крепостническое сознание.

Все по Державину: «Я царь – я раб – я червь – я Бог...».

Хотя, Гаврила Романович, можно думать, имел в виду менее прозаические сюжеты.

Конечно, положение дворян в эпоху Николая I разительно отличалось в лучшую сторону от положения их предков при Петре I. И все же известный эпизод с бородами славянофилов в этом плане курьезен лишь отчасти<sup>18</sup>. На деле правительство показало дворянству, что не собирается отказываться от своих прав по контролю за ним.

Однако – еще и еще повторю – все наши суждения о зависимости дворянства от государства будут односторонними, если мы не будем постоянно иметь в виду, что чувство принадлежности к непобедимой державе у русских людей после 1815 г. неизмеримо усилилось даже в сравнении с суворовскими временами.

Ведь Россия действительно открыла и закончила свой XVIII век в совершенно разных статусах. Начала она с позора Нарвы, а закончила Итальянским походом 1799 г., когда, по выражению Марка Алданова, Суворов «достиг высшего предела славы, при котором именем человека начинают называть шляпы, пироги, прически, улицы. Все это и делалось в ту пору в Европе, особенно в Англии». А потом, несмотря на позор Тильзита, Россия в конечном счете низвергла такого колосса, как Наполеон.

«Русские – первый в мире народ», «Россия – первая в мире держава», – часто повторяет в своих письмах после вступления в Париж А. П. Ермолов, и с ним, безусловно было солидарно подавляющее большинство русских дворян.

При этом Ермолов отнюдь не закрывал глаза на негативные стороны жизни страны. Однако ради такого величия с ними можно было худо-бедно мириться – в надежде на будущее их исправление.

Ощущение того, что ты часть Победоносного, пусть и несовершенного мира, – огромная вещь. Для многих людей это часто оправдание даже мрачного статус-кво – и серьезное оправдание.

Отечественная война 1812 г. стала важнейшей вехой в нашей истории вообще и в идейном развитии, в частности.

---

<sup>18</sup> Когда славянофилы начали появляться на публике в одежде, которую считали соответствующей своим взглядам, а некоторые отпустили бороду, то специальный циркуляр МВД в апреле 1849 г. объяснил, что «Его Величество почитает недостойным русского дворянина увлекаться подражанием западным затеям так называемой моды и что ношение бороды тем более неприлично, что всем дворянам предоставлено право ношения мундира, при котором отнюдь не дозволено иметь бороды». Характерно, что простые москвичи принимали славянофилов за «персиян».

Самосознание русских людей поднялось на новый, несравненно более высокий уровень, закономерно усилив чувство национальной исключительности – ведь только России удалось остановить Наполеона.

Война и заграничные походы русской армии показали, что феномен Империи Петра I по-прежнему существует и работает. Мысль о том, что «наша отсталость» более пригодна для защиты Отечества, нежели «европейская образованность» в разных вариациях звучала в публицистике 1812 г.

Александр I, ученик Лагарпа, пропитанный идеями XVIII в., мечтал дать России свободу и политические права. Однако сделать это, не касаясь крепостничества, было невозможно, а покушения на свой образ жизни дворянство не потерпело бы. Тем не менее после 1815 г. царь на новом уровне возвращается к своим либеральным планам эпохи Сперанского.

Михайловский-Данилевский, сопровождавший Александра I в поездке по Швейцарии, в своем «Журнале за 1815 г.» отмечает, что царь неоднократно заходил в дома тамошних крестьян и что «душа его, конечно, страдала, когда он сравнивал состояние вольных швейцарских поселян с нашими крестьянами. Сердце Государя напитано свободой, если бы он родился в республике, то он был бы ревностнейшим защитником прав народных. Он первый начал в России вводить некоторое подобие конституционных форм и ограничивать власть самодержавную, **но вельможи, окружающие его, и помещики русские не созрели еще до политических теорий, составляющих предмет размышлений наших современников. Он не мог сохранить привязанности к людям, которые не в состоянии ценить оснований, содействующих общества счастливыми**». Из истории мы знаем, что в других странах народы требовали свои права от монархов и вступали с ними в борьбу за них, а у нас, наоборот, император пожелал «возвратить нам оные, но никто его не понимал; напротив, многие на него роптали»<sup>34</sup>.

Тем не менее, победив Наполеона, Александр I даровал конституцию Польше, мечтая распространить ее и на Россию. В 1816–1819 гг. было проведено безземельное освобождение крестьяне в Прибалтике, предпринимались попытки сделать то же самое в Малороссии.

В 1818 г. он заказал людям, чье мнение ценил, подготовить свои варианты освобождения (проекты Аракчеева, Гурьева, Балугьянского), и тогда же в Варшаве под руководством Новосильцева началась работа над «Уставной грамотой Российской империи», новым конституционным проектом (его следы мы находим в «Конституции» Никиты Муравьева). Секретность в Империи была первым признаком серьезности намерений власти – об Уставной грамоте не знал даже будущий император Николай Павлович – вплоть до Польского восстания 1830–1831 гг.

Однако упорное убеждение царя в существовании всемирного антимонархического заговора в сочетании с мистицизмом (оценить который в полном объеме, на мой взгляд, могут лишь люди искренне и глубоко верующие) покончило с либеральными начинаниями. Последней каплей здесь стало восстание Семеновского полка осенью 1820 г. Финал правления Александра I был отрицанием, прямой противоположностью его началу.

Одновременно наиболее яркие представители дворянской молодежи из второго «непоротого поколения» создали тайную организацию, которая ставила целью изменение существующего строя.

Однако невозможно оспаривать тот факт, что в самом начале они видели себя не противниками, а помощниками императора, поскольку ими двигали те же стремления, что и Александром I (до поры) – видеть на своей родине свободу и право, а не вотчинно-крепостнический строй. Хотя и не сразу, но они пришли к идее освобождения крестьян.

Имея большое внешнее сходство с другими дворцовыми переворотами, их восстание, как известно, радикально отличается от них сутью – оно затевалось не ради смены племянника

на тетю, как в 1741 г., мужа на жену, как в 1762 г., или отца на сына, как в 1801 г.), а ради свободы, законности и уважения прав человека, против рабства и произвола.

Однако, как точно заметил Б. Н. Чичерин, «именно эти возвышенные идеи были еще не по плечу русскому обществу, которое все держалось на крепостном праве. Декабристы составляли в нем ничтожное меньшинство. Это был цвет русской молодежи, но цвет, оторванный от почвы, а потому обреченный на погибель»<sup>35</sup>.

Поиски свободы в декабристском ключе не были близки большинству дворянства, его устраивало статус-кво.

Итак, некоторые из промежуточных выводов, важных для этой книги, таковы.

1. К 1725 г. сформировался феномен Империи Петра I – мощного в военном отношении государства, основанного на всеобщем закреплении сословий, т. е. на полном бесправии населения.

Для Власти население страны были расходным материалом, без особенного различия в социальном положении. Веками люди были для нее, как сказали бы в XXI в., чем-то в роде одноразовой посуды – это восточная схема отношений с подданными.

2. При этом дворянство, с одной стороны, было «первым среди бесправных». На него вплоть до середины XVIII в. распространялись основные «прелести» режима – личная и социальная незащищенность, возможность наказания вплоть до лишения чести, имущества и жизни.

А с другой стороны, будучи «рабами верховной власти», дворяне одновременно были господами, а потом и повелителями крепостных.

Повторюсь: одновременное пребывание в двух человеческих измерениях не могло не отразиться на их психологии.

Этот «амбивалентный» психологический Янус очень серьезно и многообразно повлиял на нашу историю. Во многом из-за него и сегодня, а не то, что во времена Чичерина, становится стыдно за взрослых и, казалось бы, крупных людей, ведущих себя как среднестатистические дворовые.

Очень долго дворянство ощущало свою значимость и важность только в соотношении с бесправностью нижестоящих.

Элита, у которой нет подлинного сознания своих прав и своего достоинства, не будет уважать права и достоинство других людей.

И то, и другое после веков деспотизма приобретает с немалым трудом.

4. При этом ясно, что страна, жизнь которой стоит на нерегламентированном, по сути, крепостном праве, в значительной мере находится вне правового поля. Вряд ли в этих условиях может возникнуть уважение к закону – ему просто неоткуда взяться.

Тем более, что гражданские права, в том числе и право частной собственности, появляются в русском законодательстве только за 7 лет до Великой Французской революции в Жалованных грамотах Екатерины II дворянству и городам.

5. Победоносная история Империи после 1708 г. была одним из ключевых факторов, сформировавших мироощущение русского дворянства, и в большой степени русского народа в целом.

Вместе с тем мы должны знать, что военная мощь странном, на первый взгляд, образом сочеталась с малой эффективностью системы управления. К этой теме мы вернемся позже.

## «Очернитель» Текутьев, или Пятое путешествие Гулливера

*Таким образом, если, с одной стороны, в истории нашей остановилось и замедлилось развитие самостоятельной личности, то, с другой стороны, масса населения получила прочное обеспечение в имуществе, которое служит лучшим обеспечением первых потребностей – в поземельном наделе, и еще в постоянной обязательной связи своей с государством.*

*К. П. Победоносцев. Курс гражданского права.*

Теперь пора посмотреть на крепостное право со стороны крестьян.

Сделать это совсем не просто, во всяком случае, не легче, чем вывести портрет средне-статистического жителя России конца 2010-х гг.

Дело в том, что и сами крестьяне, и их положение были очень разными. На одном полюсе будут тысячи предпринимателей, таких, как И. М. Гарелин, И. Ямановский, И. И. Грачев и другие, а на другом миллионы крестьян-земледельцев, чье положение прямо зависело от личности данного конкретного барина, или его управляющего.

Впрочем, об этом ниже, а пока замечу, что за последнюю четверть века восприятие крепостного права несколько изменилось.

Я хорошо помню, что люди моего поколения со школы сохраняли пусть довольно общее, но ясное представление, о том, что крепостничество, доходившее иногда до настоящего зверства, как в случае с Салтычихой и ей подобными, равнозначно тяжелому, плохому, унижительному и т. д. положению народа. И полагаю, это правильно – забывать о таких вещах нельзя, хотя, разумеется, были и совсем другие господа.

После 1991 г. мы как-то потеряли понимание того, чем было для жителей России крепостное право. Недавно я с удивлением обнаружил, что даже мои студенты-историки не совсем адекватно судят о нем, что, конечно, не случайно. («А какое дело помещику до того, как женятся крестьяне?» – заметила одна совсем неглупая девушка).

Какой, впрочем, спрос со студентов, если председатель Конституционного Суда России В. Д. Зорькин, написавший в числе прочего, две книги о Б. Н. Чичерине (!), публично заявил: «При всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, удерживающей внутреннее единство нации».

Мысль Зорькина, думаю, войдет в анналы, но сама по себе она – безусловный симптом происшедшего за последние 25 лет сдвига в восприятии крепостного права. Думаю, не только мне хочется задать бестактный вопрос о том, с какой стороны «скрепы» Зорькин предпочел бы оказаться.

При этом сиюминутные мотивы такого оригинального заявления очевидны и понятны. Благостное отношение к крепостничеству не случайно совпало с ужесточением внутренней политики.

Есть и другие причины такого изменения в восприятии вполне ясных сюжетов, и анализировать их все я сейчас не буду. Замечу только, что некий флер пасторальной сентиментальности стал покрывать крепостничество где-то с середины 1990-х гг.

Тогда, с одной стороны, в качестве главного объяснения проблем нашей истории большую популярность внезапно обрел суровый климат, одним из якобы закономерных последствий которого стало считаться и крепостное право.

С другой стороны, в моду стремительно вошел «патернализм», термин с неким убаюкивающе-умиротворяющим эффектом – на мой взгляд, за счет странного привкуса защищенности. Он стал второй универсальной «отмычкой» к русской истории и отныне не фигурировал, кажется, только в кулинарных рецептах.

Идея патернализма, неизбежного как климат (прошу прощения за тавтологию), должна был смягчать наше восприятие негативных сторон крепостничества.

Конечно, отчасти это было компенсацией одностороннего подхода советской историографии, которая рассматривала проблемы крепостного права преимущественно в аспекте насилия, не слишком углубляясь в многогранный характер этого явления.

Но, как это часто бывает (и не только у нас), немедленно начался перекося в другую сторону, и крепостничество постепенно стало трактоваться в духе адмирала Шишкова. Он, напомню, в 1814 г. в манифесте об окончании войны с Наполеоном написал о «давней» связи между помещиками и крестьянами, основанной «на обоюдной пользе... русским нравам и добродетелям свойственной». Александр I, увидев эти слова, вспыхнул и оттолкнул текст, сказав, что не может подписывать того, что противно его совести, и решительно вычеркнул слова «на обоюдной пользе основанная... связь»<sup>36</sup>.

Да, эти отношения с хозяйственной точки зрения часто были взаимовыгодны. Крестьянин пользовался лесом, получал топливо, семена, а иногда и скот, но не стоит забывать, чем вызывалась такая забота. Лошади, в том числе и рабочие, требуют определенного ухода.

Однако чем больше мы акцентируем патриархальные, патерналистские, «патронатные» – теперь это так называется! – отношения между баринем и крестьянами, тем дальше в тень уходит суть, основа явления крепостничества – принуждение и насилие.

Такого рода ситуативная смена фокуса внимания – либо Салтычиха и убитый крестьянами за жестокость фельдмаршал Каменский, либо Венецианов с Клодтом, т. е. усадебная культура с патернализмом – весьма характерна для нашей историографии.

Вышесказанное вынуждает меня остановиться по этой проблематике подробнее.

Как понять, что такое крепостное право?

Чем было крепостничество как система?

Как «почувствовать себя среднестатистическим крепостным»?

Сразу скажу, что это не очень реально – крепостное право было очень разным.

Среднестатистического колхозника, полагаю, вывести легче, чем такого же крепостного, потому что положение колхозников в целом разнилось меньше.

Оброчные крестьяне жили иначе, чем крестьяне барщинные. Важную роль играли также местоположение имения, возможности хозяйственной деятельности и т. д.

Едва ли не ключевым фактором была личность владельца.

И здесь на одном полюсе мы увидим, например, крепостных графов Шереметевых из Иванова и других «бизнес-инкубаторов», реальных предпринимателей, новаторов, людей, которые внесли огромный вклад в создание русской текстильной промышленности. Господа, как правило, видели в них людей и не очень мешали им зарабатывать, запрещая, правда, строить каменные хоромы – в целях борьбы с гордыней.

А на другом – крестьян тех садистов и садисток, о которых пишет В. И. Семевский в книге «Крестьяне при Екатерине II», где материала хватит не на один исторический фильм ужасов, притом не выдуманных, а вполне документированных.

Когда созданный в 1857 г. Александром II Секретный комитет приступал к делу освобождения крестьян, его членам были разосланы вопросы, дающие некоторое представление о правовом положении крепостных:

«1. Можно ли ныне же позволить крепостным людям вступать в браки без согласия помещика?

2. Можно ли ныне же дать помещичьим крестьянам право приобретать собственность без согласия помещика?

3. Можно ли немедленно ограничить права помещиков относительно разбора споров и жалоб между их крестьянами?

4. В какой мере можно ныне же ограничить право помещиков относительно наказаний крестьян?

5. Должно ли ныне же неотлагательно лишить помещиков прав переселять крестьян в Сибирь?

6. Следует ли ныне же ограничить право помещиков относительно отдачи крестьян в рекруты?

7. Должно ли ныне же лишить помещиков права вмешательства в отправление крестьянами повинностей и податей?

8. Какие принять меры для более точного определения повинностей крепостных крестьян их помещикам?

9. Можно ли ныне же, немедленно допустить жалобы крепостных крестьян на их помещиков?

10. Можно ли дать помещичьим крестьянам право откупаться на волю за особо определенную цену?

11. Какие меры должны быть приняты ныне же для уменьшения числа дворовых людей?»<sup>37</sup>.

Итак, увидеть, как жила крепостная деревня до 1861 г., мы не сумеем, но попытаться представить – и довольно живо, на мой взгляд, – хотя бы одну из них можем вполне, ибо у нас есть источник, позволяющий это сделать.

Особенности жанра, само его построение и специфика личности автора дают возможность, как кажется, без особых сложностей, «включить» воображение и попробовать приблизиться к той жизни.

Я очень прошу читателей, преодолев орфографию XVIII в., внимательно прочесть ниже следующий не вполне обычный текст, который я уже несколько лет предлагаю студентам для знакомства и осмысления:

«1-я. Едва не все холопы и крестьяня должности к Господу Богу не знают и в церковь для молитвы не толко в свободное время, но в великия праздники, в воскресныя и торжественныя дни ходить, в положенный посты говеть и исповедыватца не любят.

2-я. Должности к Государю и общей ползе не толко не внимают, но и подумать не хотят.

3-я. Леность, обман, ложь, воровство будто наследственно в них положено.

4-я. Пьянство, лакомство, суеверство, примечание, шептуны – лутчее их удоволствие.

5-я. За вино и пиво господина и соседей своих со всею их и ево собственною ползою продать готов. И потому в них верности и чистой совести нет.

6-я. Господина своего обманывают притворными болезнями, старостию, скудостию, ложным воздыханием, в работе леностию, приготовленное общими трудами крадут; отданного для збережения прибрать, вычистить, вымазать, вымыть, высушить, починить не хотят.

В приплоде скота и птиц, от неприсмотру поморя, вымышляя разныя случаи, лгут. Определенный в началство в расходах денег и хлеба меры не знают, остатков к предбудущему времени веема не любят, и будто как нарощно стараютца в разорение приводить, и над теми, кто к чему приставлен, чтоб верно и в свое время исправлялось, не смотрят, в плутовстве за дружбу и по чести молчат и покрывают, а на простосердечных и добрых людей нападают, теснят и гонят.

7-я. Милости, показыванной к ним в награждении хлебом, денгами, одеждою, скотом, свободою, не помнят, и вместо благодарности и заслуг в грубость, леность, в злобу и хитрость входят.

8-я. Божия наказания, голоду, бед, болезней и самой смерти не чувствуют, о воскресении мертвых, о будущем суде и о воздаянии каждому по делам подумать не хотят и **смерть свою за покой считают.**

9-я. Отцы их духовныя о Законе и Провидении Божии, о справедливой жизни ясно не говорят и в их противных человечеству делах не запрещают, а некоторый их умыслы, прибав-

ливая способы, подошряют, пьянством, завистью, ненавистью, любостыжением и неприличною их чести жизнью соблазн и повод дают, и больше неусыпно пекутца о получении своего интереса.

**И по таким обстоятельствам каждому разумному и добросовестному господину в приведении упомянутых злых и коварных людей в доброй порядок – великой труд и беспокойство»<sup>38</sup>.**

Странное впечатление оставляют эти строки, эти «9 пунктов». Определенно не шедевр человеколюбия. Скорее, набросок эпитафии Homo sapiens – уровень авторской мизантропии, да что там, самого настоящего человеконенавистничества просто зашкаливает.

Кажется, что автор – очернитель человечества. Он явно не читал Ж.-Ж. Руссо, сообщившего людям, что от природы они прекрасны, а исковеркали их гнусная окружающая действительность и лживое воспитание.

Созданный им коллективный портрет внушает отвращение.

О ком пишет автор?

Что это за мир?

Кто его населяет?

Банда разбойников или каторжники на поселении?

Новая, еще более гнусная разновидность Йеху, найденная Гулливером в неизвестном нам пятом путешествии?

В любом случае тут в пору вспомнить Босха, а лучше – тех грешников, которые населяют сцены Страшного Суда в ярославских, например, церквях XVII века.

Между тем это всего лишь мнение небогатого помещика середины XVIII в. о своих крепостных крестьянах.

В 1998 г. Е. Б. Смилянская опубликовала обнаруженную ею в 1989 г. в археографической экспедиции и приобретенную для Научной библиотеки МГУ рукопись, под названием «Инструкция о домашних порядках». Ее в 1754–1757 гг. написал для «неотменного исполнения во весь год» Т. П. Текутьев, тогда капитан, полковой секретарь, впоследствии подполковник Преображенского полка и Смоленский губернатор.

Текутьев женился, получил за женой приданое – село Новое и две деревеньки с 80 душами мужского пола в Кашинском уезде тогдашней Московской губернии. Как безземельный дворянин он цепко ухватился за возможность создать «родовое гнездо». Получив в полку отпуск, он поехал в Новое, прожил там год и решил создать «идеальное имение». Для достижения этой цели он составил подробнейшее руководство по, условно говоря, «боевой и политической подготовке» крепостной деревни XVIII в., неуклонное следование которому должно было привести имение в необходимый порядок.

Хотя я, понятно, был знаком с крепостными инструкциями как видом массовых источников, лично для меня этот текст стал одним из тех, которые позволяют сразу «отвоевать» большое пространство в понимании того или иного исторического феномена. В некотором роде это готовый сценарий документального фильма о крепостном праве.

Е. Б. Смилянская пишет: «Т. П. Текутьев с его выучкой полкового секретаря и верой в возможность добиться “регулярства” посредством детальных “артикулов” отдал дань наивной вере людей петровской и послепетровской поры в неограниченные силы человека разумного, возводящего «по чертежам» на “разумных началах” свой дом, государство, общество. Как Петр Великий по законам часового механизма стремился построить Империю, так по этим же законам Т. П. Текутьев, казалось бы, вознамерился в 1754 г. создать свое “дворянское гнездо»<sup>39</sup>.

Текутьев написал своего рода сельскохозяйственный регламент в петровском стиле, в котором последовательно и подробно описывается вся годовая хозяйственная жизнь имения – от проведения первой весенней борозды до осенне-зимней кампании засолки рыбы и овощей, изготовления разнообразных припасов и доставки продуктов барину в Петербург.

Из его инструкции мы узнаем множество вещей – о том, например, когда и как надо пахать землю под яровое и озимое, как разводить скот, птицу и пчел, как растить и обрабатывать лен, как бороться с вредителями, как устраивать мельницы и винокурни, как производить ткани, чем лечиться от хворостей, как готовить постные и скоромные блюда. К этому прилагается множество рецептов различных настоек, мыла, различных «конфеток» и солений и т. д. и т. п. Все – в деталях; некоторые рецепты, по моим личным наблюдениям, не устарели и сегодня. Только основная часть текста расписана на 320 пунктов. Смилянская считает, что в стремлении просчитать заранее каждую мелочь в хозяйстве Текутьев «превозмог, кажется, всех своих современников, бравшихся за перо для составления наказов управляющим».

Однако достичь поставленной цели Текутьеву было совсем непросто. Ведь приведенные выше мрачные строки – это объяснение им причин, по которым написана инструкция.

То есть в условиях задачи даны «злые и коварные люди», которых «разумный и добро-совестный господин» должен привести в «доброй порядок».

А каким образом он может это сделать, если они явно не в восторге от такой перспективы?

Ответ очевиден – насилием.

Текутьев, бесспорно, был стихийным «системщиком», «логистом». Как военный человек он детально проанализировал все аспекты функционирования имения, разобрал его до «винтиков», определил уязвимые точки системы и способы их защиты, описал возможные вредные (негативные) варианты поведения крестьян в типичных хозяйственных и бытовых ситуациях и методы борьбы с ними.

Словом, он спланировал приведение имения в *свой* порядок как некую военную операцию по захвату и удержанию враждебной территории; источник порукой тому, что я не преувеличиваю.

Барин кажется тут не столько хозяином, сколько оккупантом, которого покоренное население, естественно, старается обмануть, точнее, обжулить, всегда и во всем, в любой мелочи, везде, где можно и где нельзя, и работать на которого, понятное дело, не очень-то рвется.

Помещик, судя по тексту, перманентно находится одновременно и в разведке, и в карауле, точнее, во всех видах дозора (ночного, дневного, сумеречного и т. д.), попутно выполняя обязанности комендантского взвода. Расслабиться с этим сборищем ужасно суеверных пьяниц, анархистов и безбожников, людей без «верности и чистой совести», но притом чемпионов по лени, воровству и обману, он не может.

А они, судя по тексту, в свою очередь готовы сделать хозяину гадости в любой точке подвластного ему пространства и кое в чем напоминают доведенного старшиной солдата в казарме, который начинает «играть с огнем», испытывая зыбкую грань между терпением начальства и своим неожиданно обретенным куражом.

Из текста сама собой возникает картина постоянной изнурительной борьбы, которая ведется даже не то, чтобы по плану, осознанно, а именно, что неосознанно, рефлекторно, по крайней мере со стороны крестьян.

При чтении инструкции с ее навязчивыми рефренами «жестоко сечь», «сверх того высечь нещадно», «жестоко наказывать», «без милости сечь» сразу вспоминается постоянный припев Соборного Уложения 1649 г. «казнити смертью бес пощады».

Перечисление поводов для наказания может утомить. Кажется, не остается ни одной сферы, кроме сугубо интимных, где бы человек не рисковал быть выпоротым. В тексте упоминается более 30 прямых поводов для телесных наказаний.

У Текутьева секли тех, кто работал в праздники, кто пропускал пост (это помимо штрафа), кто «при высылке на работу явитца в чем неисправен» и кто испортит межу, кто оставит покос до осени, кто плохо будет сушить хлеб, кого увидят со льном где-нибудь, кроме вионов, кто потравит посевы или порубит лес (а также и тех, кто не донесет об этом), кто по

оплошности сожжет овин с хлебом, тех, кто съест или продаст семена, выданные для посева, попадет на воровстве леса и дров, кто нарушит противопожарную безопасность, кто засорит пруд, кто пойман на воровстве.

Кроме того, крестьян пороли за симуляцию болезней и членовредительство, за плохое поведение в чужой деревне, за хождение незванным в гости в другие деревни, «где пиво варено», за шинкарство (продажу алкоголя), за отдачу земли посторонним внайм, за плохой уход за своими лошадьми, за чрезмерное употребление пива и т. д.

Кажется, в этом мире безнаказанно можно было только дышать.

И так – всю жизнь – изо дня в день...

При этом ясно, что наличие десятков «узаконенных» поводов для порки на деле расширило их число до бесконечности. Ведь в подобных случаях масштабы насилия спонтанного, «беззаконного», неизбежного при отсутствии контроля, как правило, зашкаливают.

Словом, «Инструкция» Текутьева – документ большой силы.

Он страшен своей будничностью, бесстрастной констатацией повседневного бытового бесчеловечия как чего-то абсолютно естественного – в роде восхода или заката солнца, когда насилие регламентирует каждое почти движение и действие (или отсутствие такового) крестьян. Насилие необходимо этой системе, как кислород необходим человеку для дыхания.

Это, конечно, не отчет об инспекции ГУЛАГа, но у каждого места и времени свой порог ужаса.

Барин, например, требует, чтобы «люди, крестьяня и их дети, никто сам собою и чрез посторонних никакова над собою... повреждения рублением у рук и ног палцов, порченьем глаз, рванием зубов, животных и протчих наружных болезней, опасаясь душепагубного греха и по указом государевым наказания<sup>19</sup>, не делали»<sup>40</sup>. Нарушителей после выяснения всех обстоятельств дела (зачем, почему, кто надоумил?) надо «сечь без милости», а возможных пособников – после порки сдавать в канцелярию для суда.

Не надо иметь воображение Джонатана Свифта или Айзека Азимова, чтобы вообразить мир, который регулируется этой инструкцией, поставить себя на место людей, которые его населяют, и представить жизнь, которую они ведут и при которой отрубленные пальцы и прочее членовредительство является обыденностью.

В некотором смысле этот текст – своего рода вариант архаичной антиутопии с огромным потенциалом зла.

Я не отношусь к историкам, исповедующим «классовый подход», однако лично мне после чтения этой инструкции захотелось не просто написать «Манифест Коммунистической партии», а прямо бежать к Емельяну Пугачеву, до явления которого, впрочем, оставалось еще 18 лет.

Но, может быть, Текутьев излишне строг?

Увы, нет.

---

<sup>19</sup> 23 октября 1732 последовал именной указ Анны Ивановны – «О чинении жестокого наказания тем, кои для избежания от рекрутства, лишат себя какого либо члена, или нанесут себе другое какое увечье». Он гласит: «Понеже донесено Нам от нашего правительствующего Сената, что являются рекруты, которые не хотя служить, самим секут у себя пальцы и другие члены, и ранами уязвляют, умысля воровски, чтоб их в службу не определяли, или б и определенных оставляли, и когда оные таким умышлением от службы свободу себе получают, то подают причину другим такой же над собою вред чинить. Того ради указали Мы для пресечения оного воровства в народ сим нашим указом публиковать: ежели кто в рекруты будет назначен, а не похотя быть в Нашей службе, отсечет сам себе у руки пальцы, или иной член, или другою какою раною себя уязвит: таким, хотя б он определенными наборщиками принят был, или б еще и не принят, чинить жестокое наказание, а именно: которые и ружьем владеть могу, таких гонять спицрутен по три раза и писать в солдаты; а которые ружьем владеть от тех ран не могут, тех, с таким же наказанием, писать в извошки; а которые явятся в солдатах и в извошках быть негодны тех бить кнутом нещадно и ссылат в Сибирь на вечное житье на заводы, а помещикам зачитать их в рекруты (ПСЗ, т. 8 5632. С. 330–331).

Примерно в те же годы один из интереснейших людей своего времени, знаменитый Андрей Тимофеевич Болотов (1738–1833), вступил в управление купленной Екатериной II Киясовской волостью в Серпуховском уезде.

Болотов, разносторонняя натура, ботаник и лесовод, один из зачинателей отечественной агрономии (во многом благодаря ему картофель и помидоры были признаны в России), писатель-моралист был совсем другим человеком, нежели Текутьев,

Однако и он вынужден был действовать схожим образом, чтобы унять воров, хотя ему это было в высшей степени неприятно: «Господи! Как было мне тогда досадно... **Будучи от природы совсем не жестокосердным, а, напротив того, такого душевного расположения, что не хотел бы никого оскорбить и словом, а не только делом, и, не находя в наказаниях никогда ни малейшей для себя утехи и видею тогда сущую необходимость оказывать жестокости и с сими бездельниками для унятия их от злодейств драться, терзался я от того досадою и неудовольствием.**

В конечном счете он прекратил воровство, завоевал авторитет у крестьян, но нельзя сказать, чтобы это досталось ему малой ценой. Гуманизм Болотова бесспорен, однако особого выбора у него не было. Разве что отказаться от должности.

Обе коллизии важны и в более широком контексте. Историк А. Г. Тимофеев писал: «Возлагая надежды на страх и жесточь, Петр Великий упустил из виду, что Москва дошла в этом направлении почти до пределов возможного, что русские люди успели уже привыкнуть к самым страшным угрозам, что боязнь кнута или казни перевешивалась чрезмерной тягостью существования низших сословий, требованиями рекрутчины или фанатизмом»<sup>41</sup>.

Иными словами, многовековая повседневность русской истории была настолько страшной, что телесные наказания стали просто рутиной и поддержание элементарного порядка без них было невозможно. Если любой даже самый мелкий командир, начальник, руководитель игнорировал данное обстоятельство, его просто не воспринимали в этом качестве. Он считался слабаком – со всеми вытекающими для дисциплины последствиями, неважно, в имени или в батальоне.

Нам сегодня это очень трудно представить, поскольку стандарты восприятия насилия очень сильно изменились, несмотря на то, что XX век дал примеры такого одичания человечества и такого запредельного зверства, которых История не знала.

Вернемся, однако, к Текутьеву.

Любопытно, что, судя по тексту, он – определенно не худший из людей, он явно неглуп, начитан, богобоязнен и имеет принципы. А Смилянская считает, что он и не худший из помещиков: «Текутьев не был ни самодуром, ни жестоким крепостником». Действительно, его инструкция в репрессивной части не выходит за рамки других документов такого рода.

**Просто таковы нормативы времени и места – без насилия эта система не работала.**

Если попытаться обобщить вышесказанное, то совершенно очевидно, что предшествующая история России оставила такое наследство, что иные взаимоотношения между баринами и крестьянами должны были быть, скорее, исключением.

За этой «закоренелостью» крестьянства в своих «пороках», бесспорно, стоит давность, чувствуется вполне устоявшаяся система. За нею, вновь вспоминая Г. И. Успенского, – 14 томов С. М. Соловьева из 26. Обе стороны примерно знают, чего они могут ждать друг от друга, и ведут себя соответственно.

Говорят, в свое время Лжедмитрий I спрашивал москвичей о том, почему они такие злые, и в ответ слышал примерно следующее – «будешь тут злым, после опричнины-то!».

И это отчасти позволяет ответить на остающийся за рамками текста Текутьева вопрос о том, почему эти люди, его крестьяне, такие «злые и коварные».

В одном из пунктов инструкции читаем: «Что принадлежит до поборов и оброков с крестьян и людей, то сверх положенного излишняго отнюдь не брать, **ибо они от излишности ослабевают, в леность и жестокосердие обращаютца и никаких страхов и бою не чувствуют, великия злобы и вред господину вымышляют**»<sup>42</sup>

Это очень важное мнение.

В любом состоянии, в том числе и в беспросветной жизни, которую вело большинство крепостных, всегда есть градации и, следовательно, всегда есть уровень как бы привычно-приемлемой тяжести. Его отягощение, «излишность» выключает механизмы самозащиты и включают протест – на уровне первой сигнальной системы.

А в жизни русского крестьянства за предшествующие века, несомненно, было слишком много «излишности», т. е. несправедливости, насилия, притеснений и обид, которые ожесточали сердце и в совокупности параллельно порождали равнодушие (при таком существовании однажды всё становится безразлично), а вместе с тем и «леность» как один из способов защиты от несправедливого окружающего мира.

Я говорю, в числе прочего, и о масштабном государственном насилии в виде мобилизаций «даточных людей» Алексеем Михайловичем на войну с Польшей, в виде «великих строек» необъявленных петровских пятилеток, рекрутчины и т. д.

Инструкция делает понятнее тезис о том, что крестьяне, шире – народ, были расходным материалом «цивилизации Петра I». Например, за 1699–1714 гг. было мобилизовано свыше 330 тыс. даточных людей и рекрут,<sup>43</sup> т. е. 5,92 % мужчин даже относительно 5570 тыс. душ мужского пола, зафиксированных 1-й ревизией (1718–1724 гг.) Это примерно соответствует четырем с небольшим миллионам мужчин в наши дни.

Итак, Текутьев не был исключением, и его «дисциплинарная практика» никак не отклоняется в худшую сторону от других известных нам образцов. Но все подобные инструкции – это руководства по дрессировке, и отнюдь не морских львов. Дрессировщики людей, как это бывает при общении с опасными животными, иногда плохо кончают.

Говоря о том, что Текутьев видел залог исполнения своей программы в «мелочном надзоре и насилии», Смилянская весьма изящно завершает эту тему: «Трудно сказать, были ли действительны эти меры. Но в некотором смысле ответ на этот вопрос содержится в записи на обороте последнего листа Инструкции Текутьева, сделанной уже в начале XIX в.: «Сия книга принадлежит села Арпачева дьячку Алексею Андреянову, подаренная ему помещиком Павлом Петровичем Львовым владеть и пользоваться сим вышеписанным примечанием. Убит Павел Петрович своим крестьянином 1813 года сентября 6 дня»<sup>44</sup>.

Другими словами, известный афоризм мадам де Сталь – «форма правления в России – это самодержавие, ограниченное удавкой», был универсальным и относился не только к носителям высшей власти, но и к мини-самодержцам, т. е. помещикам.

Инструкция Текутьева ставит еще одну из первостепенных для понимания нашей истории проблем.

Он постоянно упрекает крестьян в том, что они не хотят «верно» исполнять «свою должность», т. е. делать все то, что барин требует и что, по его мнению, выгодно для них самих. Помещик, в частности, видит пользу для крестьян в достижении ими некоторой степени зажиточности, он хочет, чтобы они были уверены в завтрашнем дне, однако они просто не думают об этом.

Почему?

Почему крестьяне всегда не согласны с господином, почему они все время сопротивляются ему?

Из многих «потому, что» назову два.

Во-первых, между ними давно, очень давно нет доверия, если оно и было когда-то.

Во-вторых, понятия выгоды и целесообразности у помещика и его крестьян не совпадают – они исповедуют разные системы ценностей, вытекающие из различия их положения и уровня культуры<sup>20</sup>.

Ведь Текутьев мыслит рационально, а крестьяне – как правило, мифологически.

И поскольку крестьяне не понимают своей пользы, то барин должен о ней заботиться сам, даже вопреки их желанию.

Точно так же рассуждал Петр I в знаменитом указе Мануфактур-коллегии 1723 г.: «Что мало охотников (заводить предприятия – *М. Д.*) и то правда, понеже наш народ, яко дети, неучения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не приневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что явно из всех нынешних дел не все ль неволею сделано и уже за многое благодарение слышится, от чего уже плод произошел»<sup>45</sup>.

Дилемма, что и говорить, непростая. С одной стороны, насилие, а с другой, насилие во благо, которое приносит хорошие плоды.

Но как установить грань?

И кто будет ее устанавливать?

А нужно ли вообще «насилие во благо»?

Вечная проблема...

Подводя промежуточные итоги, замечу, что село Новое с полутора сотней жителей – одно из десятков тысяч крепостных селений.

Это крошечный фрагмент громадной панорамы, но, как мы видим, его легко расширить до масштабов страны и получить некоторое, хотя и упрощенное, представление о строе российской жизни, о российской системе управления в целом.

Нетрудно протянуть пунктир от Петра I к продолжателю его дела на микроуровне капитану Текутьеву – с понятной поправкой на масштаб. В «сопоставимых ценах» Россия сопротивлялась Петру I так же, как деревня Новая сопротивлялась капитану Текутьеву.

Не суть важно, сумел он полностью внедрить задуманное или не сумел. Важно, что так было возможно ставить вопрос. Конечно, в похожем режиме жили не все 100 % крепостных деревень, – но множество, несомненно, жило.

Важно и то, как вели себя крестьяне в столкновении с жизнью, в которую их загнала Судьба.

Важно, что такой дикий и жестокий мир – со всей этой **ежедневной борьбой всех против всех** (потому что крестьяне воюют не только с помещиком, но и друг с другом), с разветвленной системой насилия, со всеми каверзами, подвохами, уловками и хитростями, которые Текутьев изучил и описал, не только мог существовать, но и существовал, чему есть множество подтверждений,

«Мы знаем, что далеко не все помещики злоупотребляли своими правами и своей фактической силой над подвластными им людьми. Что кровавые эпизоды из печальной истории крепостного права – людоедство Салтычихи при Екатерине II, кровавые похождения помещиков Орлова, Побединского и Каннабиха при Александре I, или свирепости поручика Карцова и развратные поступки тайного советника Жадовского при Николае I и мн. др. тому подобные не могут быть вменены целому сословию, хотя историк крепостного права и не должен забывать о них...

Злоупотребления власти помещиков над крепостными...не всегда они происходили и от преднамеренной злой воли помещика, или дурных его качеств. Злоупотребления эти в

---

<sup>20</sup> Л. Н. Толстой сообразно своим взглядам 1860-х гг., проиллюстрировал этот сюжет одним абзацем о том, как Николай Ростов «учился у мужиков и приемам, и речам, и суждениям о том, что хорошо и что дурно». (*Толстой Л. Н. ПСС. Т. 12. М.: ГИХЛ. 1940. С. 255.*)

большинстве случаев были неизбежными последствиями самой сущности крепостного права, неопределенности и неточности регулировавших его законов. Обуславливались они также общим духом времени – **езде** царствовавшими насилием и произволом, низким уровнем образования дворянства, при котором немислима высокая степень развития нравственного»<sup>46</sup>.

Понимать причины событий – очень важно, но не менее важно осознать, что наш народ вырос в именно в такой школе, и историческая «коррозия» слабо влияет на плоды подобного просвещения.

## Что такое социальный расизм?

Должен признаться, что в свое время я далеко не сразу свыкся с тем, что лучшие люди России эпохи Екатерины II и Александра I были **искренне** убеждены в неготовности крепостных к немедленному освобождению.

Несомненно, «классовая» корысть имела место, но было и твердое убеждение в том, что весь комплекс житейских навыков и привычек крестьянства, вся система осмысления ими окружающего мира не позволят им хоть сколько-нибудь сносно жить без власти помещика, без его руководства и управления.

Помогла и знаменитая беседа кн. Е. Р. Дашковой с Дидро, где она уподобила получившего свободу крепостного с положением внезапно прозревшего на скале посреди моря слепого человека, который до этого не знал об опасностях окружающего мира.

Убедителен был и Карамзин, который в 1811 г., рассуждая о перспективах эмансипации, в частности, отметил: «Освобожденные от надзора господ, имевших собственную земскую исправу, или полицию, гораздо деятельнейшую всех земских судов, станут пьянствовать, злодействовать, – какая богатая жатва для кабаков и мздоимных исправников, но как худо для нравов и государственной безопасности!»

Одним словом, теперь дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства: отняв у них сию власть блюстительную, он, как Атлас, возьмет себе Россию на рамена – удержит ли?.. Падение страшно.

... Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу, но знаю, что теперь им неудобно вернуть оную. Тогда они имели навык людей вольных, ныне имеют навык рабов; мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели **дать им не вовремя свободу**, к которой надобно готовить человека исправлением нравственным»<sup>47</sup>.

Впечатлили и слова Смоленского губернского предводителя дворянства кн. Друцкого-Соколинского, писавшего в 1849 г. Николаю I, что договорные отношения помещиков с крестьянами едва ли возможны из-за «низкого нравственного и умственного состояния народа, не имеющего понятия о свободе в смысле гражданском, а понимающего ее как *вольность*, в смысле естественного права, – народа, не признающего, что земля есть собственность помещиков или даже общая их с помещиками, но убежденного, что земля есть Божья; убеждения такие грозят гибелью государству»<sup>48</sup>.

Все эти мысли, а также приведенные выше «9 пунктов Текутьева», ясно показывают, что дворянство воспринимает крестьян как представителей какого-то другого, низшего вида Homo sapiens (слова «неандертальцы» тогда не было), **никоим образом неравного им**.

И этот феномен следует назвать **социальным расизмом**.

Он, конечно, имел место не только в России: «Восприятие народа как духовно нищего, характерное для Екатерины и наиболее образованных представителей ее окружения, отнюдь не было чисто русским явлением, но своего рода общим местом Просвещения. Как отмечает современный исследователь, язык, которым просветители пользовались при разговоре о простом народе, был часто тем же, каким пользовались при разговоре о животных и детях. Считалось, что, как дети, простой народ нуждается в руководстве и контроле, и даже его просвещение, образование возможны лишь до определенных пределов»<sup>49</sup>.

Русские дворяне многократно варьировали мысль Руссо о том, что сначала нужно освободить души рабов, а уже потом их тела (например, те же Дашкова и Карамзин). Это, в сущности, лучше всего говорит об интернациональном характере подобных идей.

Однако разница с Европой была очевидна – далеко не во всех странах у дворянства был такой объем власти над крепостными, как в России, что априори увеличивало социальное расстояние между ними и, соответственно, объем социально-психологического «презрения».

Впрочем, не будем забывать, что у нас было множество мелкопоместных дворян, которые и сами рядом со своими мужиками землю пахали (чего не было в Европе) и по образу жизни не слишком от них отличались – вспомним хотя бы финал «Капитанской дочки». И я пока не готов ответить на вопрос, в какой мере они разделяли чувства Текутьева в отношении крестьян.

Тем не менее, очевидно, что социальный расизм был оборотной стороной крепостного права и, в частности, стимулировал его постоянное самовоспроизводство. Ведь каждый вышестоящий, как мы знаем, считал себя важнее тех, кто был ниже. Бывало, что старший конюх мог пороть конюхов, а дворецкий – подчиненных ему слуг<sup>50</sup>.

Контекст этой проблематики делает понятнее известная мысль Екатерины II о том, что русские дворяне с детства получают уроки жестокого обращения с крестьянами. «Едва посмеешь сказать, что они такие же люди, как мы, и даже когда я сама это говорю, я рискую тем, что в меня станут бросать камнями; чего я только не выстрадала от такого безрассудного и жестокого общества, когда в комиссии для составления нового Уложения стали обсуждать некоторые вопросы, относящиеся к этому предмету»<sup>51</sup>.

Поначалу императрица, безусловно, рассчитывала на то, что ей удастся хоть как-то смягчить положение крепостных. Однако быстро выяснилось, что крепостных – вслед за «невежественными дворянами», которых оказалось куда больше, чем она могла предположить, – хотят иметь и купцы, и казаки, и духовенство: «Послышался... дружный и страшно печальный крик: “Рабов!”»<sup>52</sup>.

Вот как это объясняет С. М. Соловьев: «Такое решение вопроса о крепостном состоянии выборными русской земли в половине прошлого века происходило от неразвитости нравственной, политической и экономической».

**Владеть людьми, иметь рабов считалось высшим правом, считалось царственным положением, искупавшим всякие другие политические и общественные неудобства, правом, которым потому не хотелось делиться со многими и, таким образом, ронять его цену. Право было так драгоценно, положение так почетно и выгодно, что и лучшие люди закрывали глаза на страшные злоупотребления, которые естественно и необходимо истекали из этого права и положения»<sup>53</sup>.**

Конечно, объяснять участникам Комиссии 1767 г., что крепостничество – это стыдно, было бессмысленно.

Далее Соловьев пунктиром отмечает долгий и очень сложный путь преодоления этих взглядов: «Представления, которые должны были мало-помалу подорвать ценность этого права и положения в глазах лучших людей, только еще начинали, и очень слабо начинали, проникать в общество; то было представление научное о государстве, о высшей власти и отношении ее к подданным, отношении, не похожем на отношение помещика к крепостным и отнимавшем у последнего царственный колорит; потом представление о рабстве как печати варварского общества, представление, оскорбительное для людей, имеющих притязания на образованность; **представление о народности, о чести и славе народной, состоящих не в том, чтоб всех бить и угнетать, а в содействии тому, чтобы как можно меньше били и угнетали.**

Чтобы все эти представления, усиливаемые все более и более европейской жизнью народов, сообща и распространением просвещения мало-помалу подкопали представление о высоте права владеть рабами, для этого нужно было пройти еще веку»<sup>54</sup>.

Напомню, что Россия считалась варварской страной в том числе и потому, что в странах Запада рабами могли быть представители другой расы, но никак не белые люди.

Положение защитников крепостнического статус-кво было непростым. После Полтавы Россия вступила в Европу – нравилось это последней или нет (конечно, не нравилось). Понятно, что лучшим представителям элиты, в том числе Екатерине II, не хотелось быть там на положении Чингиз-хана или Сулеймана Великолепного, притом, что большинство дворян было вполне довольны именно таким положением, находя в этом своеобразное удовольствие. Оно даже и не подозревало о существовании Монтескье и «главного русофоба» Руссо и прекрасно себя чувствовало в качестве полноценных владельцев себе подобными.

Однако для людей, владевших пером, опровержение обвинений европейцев в «варварстве» стало очень важной задачей.

Основная линия защиты состояла в том, что самодержавие объявлялось особой формой монархии, большая сила и жесткость которой определялась громадными размерами страны; ведь и Монтескье считал, что чем больше территория, тем сильнее должна быть центральная власть.

Крепостничество также трактовалось как особенность России, в которой иностранцы в силу незнакомства с нашей спецификой понять ничего не могли, притом, что благосостояние «вольных» земледельцев Европы считалось худшим, нежели русских.

Шли годы. За последнюю треть XVIII в. человечество на Западе прожило не одну жизнь. Началось крушение Старого Мира – революции в Америке, а затем Великая Французская начали отсчет современности.

Со времен Уложенной Комиссии многое изменилось и в России. Она пережила Пугачева, две войны с Турцией, поучаствовала в трех разделах Польши, раздвинула свои границы и после Итальянского и Швейцарского походов с точки зрения внешнего могущества находилась, условно говоря, на пике имени А. В. Суворова.

В 1801 г. на престол вступил новый император. Его отец и дед были убиты, называя вещи своими именами, собственной дворней, пусть и свободной юридически. Александр I искренне желал – по крайней мере поначалу – ограничить свое самодержавие и изменить положение крепостных крестьян.

Тем самым борьба с «клеветниками России» обрела не просто актуальность, но прямую злободневность, поскольку теперь с ними неявно солидаризовалась верховная власть.

И вот в 1803 г., через несколько месяцев после закона о вольных хлебопашцах, по которому помещики получили право освобождать крестьян с землей за выкуп, Карамзин публикует свое «Письмо сельского жителя».

Это – одна из первых печатных деклараций зарождающегося русского консерватизма, которая, собственно говоря, и появилась именно тогда, когда возникла потребность «консервировать» самое необходимое из нужного – крепостное право.

Какое чтение!

Как за полвека изменился русский язык – при том, что слово «русский» еще пишется с одним «с»!

Карамзин поступает квалифицированно и остроумно – он создает то, что сейчас в науке именуется имитационной контрфактической моделью.

То есть он исходит из допущения, что планируемые Александром I реформы уже проведены, и описывает ситуацию, которая должна стать их результатом.

Рассказчик (повествование идет от первого лица), не дожидаясь «повеления свыше», несколько лет назад сразу дал своим крестьянам чуть ли не полную вольность, и вот что из этого вышло.

«Я вырос там, где живу ныне. Путешествие и служба совершенно раззнакомили меня с деревнею; однакож сделавшись рано господином изрядного имения, и будучи, смею сказать, налитан духом филантропических авторов, то есть, ненавистию ко злоупотреблениям власти, я желал быть заочно благодетелем поселян моих: отдал им всю землю, довольствовался самым

умеренным оброком, не хотел иметь в деревне ни управителя, ни прикащика, которые нередко бывают хуже самых худых господ, и с удовольствием искреннего человеколюбия написал к крестьянам: «Добрые земледельцы! Сами изберите себе начальника для порядка, живите мирно, будьте трудолюбивы и считайте меня своим заступником во всяком притеснении»<sup>55</sup>.

Возвращаясь после долгого отсутствия «к пенатам родины» (первое слово тогда писалось с большой буквы, а второе – с маленькой!), автор-филантроп был убежден, что найдет «деревню свою в цветущем состоянии; как поэт воображал богатые нивы, пажити, полные житницы, избыток, благоденствие, и сочинял уже в голове своей письмо к какому-нибудь рускому журналисту о щастливых плодах свободы», которую он дал крестьянам.

Вместо этого он увидел «бедность, поля весьма дурно обработанные, житницы пустые, хижины гниющие...». Старики, которых он помнил «еще с ребячества», открыли ему причину этих метаморфоз.

Отец героя жил в деревне и сам следил за тем, чтобы не только его, но и крестьянские поля хорошо обрабатывались. Урожаи поэтому были выше, чем у многих соседей, барин богател, а крестьяне не беднели.

А та «воля», которую «филантроп» дал последним, «обратилась для них в величайшее зло: то есть, в волю лениться и предаваться гнусному пороку пьянства». Из-за неумеренного «служения» в «храмах русского неопрятного Бахуса», т. е. в кабаках, будни у них превратились в праздники и они теперь могут повсеместно «избавляться от денег, ума и здоровья... ибо в редкой деревне нет питейного дома»<sup>56</sup>.

После этой минорной интродукции разворачивается описание торжества политэкономии сентиментального крепостничества, имеющего, что характерно, все признаки советского «производственного» фильма, вроде «Кубанских казаков»: «Я возобновил господскую пашню, сделался самым усердным экономом, начал входить во все подробности, наделил бедных всем нужным для хозяйства, объявил войну ленивым, но войну не кровопролитную (интересно – а какую? – М. Д.); вместе с ними, на полях, встречал и провожал солнце; хотел, чтобы и они и для себя так же старательно трудились, вовремя пахали и сеяли; требовал от них строгого отчета и в нерабочих днях; перестроил всю деревню самым удобнейшим образом; ввел по возможности опрятность, чистоту в избах, не столько приятную для глаз, сколько нужную для сохранения жизни и здоровья».

В результате «и друзья земледелия и друзья человечества могут с удовольствием взглянуть на мои поля, село и жителей его»<sup>57</sup>.

Разумеется, в полном соответствии с жанром, его деревня, подобно колхозу из фильма «Трактористы», приходит к изобилию и процветанию – все благодарны ему за трезвый образ жизни, получаемое от работы удовольствие, обретение «зажиточности» и т. д.

В письме присутствуют также и другие атрибуты пасторального текста – школа, достойный священник, аптека, в которой они вдвоем «творят чудеса», сад, парк, сельские праздники у господина, который лично выкопал у проезжей дороги колодец, обложил его белым камнем и, лежа на дерновом канале, с удовольствием глядит, как люди «пьют *его* воду»...

Словом, нищая деревня превращается в миниатюрную Аркадию.

Модель построена.

Автор дал крестьянам возможность жить свободно, без господского надзора, без барщины, де-факто воплотив то, к чему призывают иностранцы и чего хочет новый император, – и ошибся. Деревня пришла в упадок, и исправить положение смогло только возвращение к старому привычному модусу отношений барина с крестьянами.

Одержанная победа позволяет автору оценить как мнения иностранцев о России, так и планы Александра I относительно изменения положения крестьян, в которых он видит стремление соответствовать чужим стандартам и угодить Европе.

Эти планы исходят из тезиса об идентичности русских и европейцев. А это в корне неверная посылка: «Иностранцы глубокомысленные политики, говоря о России, знают все, кроме России. Я рассуждал так же в городском кабинете своем, но в деревне переменил мысли»<sup>58</sup>.

Карамзин не входит в детали своего знания России, однако кое-какими сведениями делится. Как и капитан Текутьев, автор – антирусоист.

Иностранцы относят «беспечную леность» русского крестьянина на счет «так называемого рабства» – кому захочется усердно работать, если помещик всегда может отнять имущество?

Однако крестьянам «такая философия» неизвестна – «они ленивы от природы, от навыка, от незнания выгод трудолюбия».

Самостоятельно преодолеть эту природную лень они не в состоянии, помочь им сделать это и тем самым **заставить понять собственную пользу** может лишь помещик: «Один опыт мог уверить их в щастии трудолюбия. Принудите злого делать добро: отвечаю, что он скоро полюбит его. Заставьте ленивого работать: он скоро удивится своей прежней ненависти к трудам...»

Он требует от них работы, но только такой, «для которой человек создан, и которая нужна для самого их щастия». Они ленились, пьянствовали и жили в бедности, а теперь «работают весело, пьют только в гостях у своего помещика и не знают нужды.

Сверх того обхождение мое с ними показывает им, что я считаю их людьми и братьями по человечеству и Христианству... Нет, не могу сомневаться в любви их!

Это уверение, любезный друг, приятно душе моей; но еще гораздо приятнее, гораздо сладостнее то уверение, что живу с истинною пользою для пяти сот человек, вверенных мне судьбою. Прискорбно жить с людьми, которые не хотят любить нас: всего же несноснее жить в свете бесполезно.

Главное право русского дворянина быть помещиком; главная должность его быть добрым помещиком; кто исполняет ее, тот служит отечеству как верный сын, тот служит монарху как верный подданный: ибо Александр желает щастия земледельцев»<sup>59</sup>.

Итак, у Карамзина позиция очень петровская («Яко дети, неучения ради...»). Отвергая идею освобождения крепостных, Карамзин излагает обычные аргументы – то, что «вольные», т. е. государственные, крестьяне живут не лучше помещичьих, что господа отнюдь не такие звери, какими видят их иностранцы и т. д.

Да, перемены возможны, но в будущем: «время подвигает вперед разум народов, но тихо и медленно: беда законодателю облететь его!». Автор желает крестьянам **«единственно того, чтоб они имели добрых господ и средство просвещения, которое, однако, одно делает все хорошее возможным»**.

Поэтому царский указ о деревенских школах – «исполинский шаг к вернейшему благоденствию поселян», потому что «они русские: следственно имеют много природного ума; но ум без знания есть сидень».

Он сам завел школу и начал учить крестьянских детей не только грамоте, но и «правилам сельской морали, и на досуге сочинил катихизис, самой простой и незатейливой, в котором объясняются **должности поселянина, необходимые для его щастия**»<sup>60</sup>.

Нетрудно видеть, что «Письмо сельского жителя» – важный текст, но я коснусь лишь того, что имеет отношение к нашей теме.

«Письмо» – зримое свидетельство пути, который проделала русская культура за полвека. Не говоря о том, что в середине XVIII века просто некому было **так** писать по-русски, очевидно, что за это время заметно увеличилось число тех, кто со знанием дела могли оценить отсылки автора к «иностранным наблюдателям».

Текутьеву, откровенному, как честная кинохроника, и в голову не придет уверять кого-либо, что крестьяне ему братья, рассуждать о «должности поселянина» и «доброты помещика», и уж тем более он не станет оправдываться перед какими-то иностранцами.

Вместе с тем сходство между двумя текстами очевидно.

Карамзин касается тех же болевых точек хозяйства, что и Текутьев, – насколько это было возможно с учетом особенностей жанра – от удобрения до священника и шептунов с колдунами, и даже сам написал инструкцию – «катехизис»; при этом оба хотят иметь грамотных крепостных.

Я не обсуждаю меру правоты или заблуждений Текутьева и Карамзина.

Я констатирую прогресс нравов и русского языка при отсутствии радикальных перемен в восприятии крестьян. Время Александра I далеко ушло от эпохи Елизаветы в плане культуры, но не в отношении к «земледельцам».

Да, Карамзин завел школу. Да, он считает их «братьями по человечеству и христианству», насколько искренне – другой вопрос. Во всяком случае, от человека его калибра мы были вправе ожидать такого заявления. Вспомним, как Екатерина II сетовала на то, что окружающие не понимают ее, когда она говорит, что крестьяне «такие же люди, как мы».

Ясно, однако, что большинство дворян эту точку зрения не разделяло.

В нашем распоряжении есть любопытный документ той эпохи, нюансирующий проблему социального расизма.

Известный историк и правовед тайный советник П. В. Хавский (1771–1876), сын протоколиста Егорьевского земского суда («из обер-офицерских детей»), начавший службу подполковником того же суда, в конце жизни так описывал одно из самых главных событий своей биографии: «В 1802 году, декабря 31, на 19-м году моей жизни произведен был я из канцеляристов в коллежские регистраторы, т. е. в первый офицерский чин 14-го класса по чиновному состоянию...

Радостное впечатление это осталось даже и теперь, при 83-х годах моей жизни. Указ прочитан мне в присутствии Земского суда; члены сего суда поздравляют; своя братия не офицеры поздравляли с именем Ваше благородие.

Шпага при бедре моем отцовская. Надобно было идти в Егорьевский собор к присяге, как теперь помню это было в праздничный день, и после обедни народ остановился слышать присягу.

По окончании присяги, народ дал дорогу новому офицеру. После сего кстати и некстати казался у всех высших добрых для меня помещиков, а более всех благодетелей моих городничего Якова Исаковича Ганнибала и исправника Федора Ивановича Демедема...

**Итак, новый офицер везде принят был как свой брат дворянин.**

Между прочим нельзя таить и той радости, что меня уже теперь нельзя наказывать по старому порядку палками, взять за волосы и таскать по канцелярии и потчивать пощечинами. Хотя старый обычай и исчезал. Кандалов и стула с цепью не было в заведении Земского суда.

Часто в разговорах между благородными дамами, особенно имеющих взрослых дочек, кусали меня вопросами: что я новый офицер еще не могу купить семьи людей и никого купленных крепостных людей иметь для услуги? Дай Бог Вам быть и настоящим дворянином.

В 1805-м году Декабря 31 получил чин губернского секретаря 12 класса государственной службы. Здесь по праву имени секретаря можно было покупать крестьян с землею, и я сделался помещиком Егорьевского уезда сельца Завражья, купив дворовых человек с землею»<sup>61</sup>.

Нет нужды комментировать этот текст – все предельно ясно.

Да, бывают моментальные фотографии из начала XIX в.!

Но какой концентрированный стусок эмоций!

На скольких страницах среднестатистического романа удалось бы раскрыть описываемые здесь чувства?

Вернемся, однако, к той мысли Карамзина, которую дворянство в массе разделяло, – о том, что «дворяне, рассеянные по всему государству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства», которую Николай I переформулировал в знаменитой фразе о том, что у него есть 100 тысяч бесплатных полицмейстеров, т. е. помещиков. Точно так же они и сами смотрели на себя.

Отчасти так и было.

18 февраля 1861 г. дворянство на правах собственности владело третью населения Российской империи. Де-факто это делало помещиков органами правительственной власти, поскольку освобождало государство от забот по управлению миллионами крепостных крестьян.

Поддерживая порядок у себя в поместьях, они действительно вкладывали свою лепту в сохранение оногo в масштабах страны. При этом возникла тенденция представлять крепостное право в виде некой сделки – правительство-де «вооружило» им помещиков, одновременно обязав их опекать крестьян, кормить при неурожаях, «обстраивать и защищать от всяких обид».

Так, «Земледельческий Журнал» в 1821 г. определяет помещика как *«наследственного чиновника»*, которому верховная власть, дав землю для населения, вверила чрез то и попечение о людях населенных. Он есть природный покровитель сих людей, местный их судья, ходатай за них, попечитель о неимущих и сиротах, наставник в благом, наблюдатель за благоустройством и правами».

Еще яснее выразился в 1849 г. упоминавшийся выше Смоленский губернский предводитель: «В нашем обширном отечестве, более десятка миллионов народонаселения управляется своими помещиками под руководством законов. *Правительство не имеет с ними никаких прямых отношений»*.

Помещики, соединяющие в себе административную, полицейскую и судебную власть, отвечают государству «за целостность миллионов народа» и их имущества, причем это *«не стоит ничего ни правительству, ни народу (! – помета Ю. Ф. Самарина – М. Д.)»*<sup>62</sup>.

При этом де-факто тезис «крестьян нельзя освобождать, пока они не просвещены», в конкретных российских условиях дополнялся констатацией: «А поскольку они никогда не просвещены, то их никогда нельзя освобождать».

Ибо, несмотря на разговоры о школах, дворянство, за редкими исключениями, вроде графа М. С. Воронцова, ничего не делало для этого – и в большой мере сознательно.

Напомню, что Воронцов, командовавший в 1815–1818 гг. русским оккупационным корпусом во Франции, ввел там для солдат ланкастерские школы взаимного обучения. Опыт оказался успешным, школы стали входить в моду, и с ведома и одобрения Александра для солдат гвардейского корпуса была учреждена центральная школа, в которой обучалось до 250 человек. Организацией занимался Н. И. Греч, заведовал ею поначалу И. Г. Бурцев (член «Союза Благоденствия»). Греч вспоминает: «Учение продолжалось с удивительным успехом. В конце второго месяца солдаты, не знавшие дотолe ни аза, выучились читать с таблиц и по книгам; многие писали уже порядочно. **Нельзя вообразить прилежания, рвения, удовольствия, с каким они учились: пред ними разверзлся новый мир»**.

Думаю, непросто найти лучшее описание приобщения взрослых людей, прошедших в прямом и переносном смысле огонь и воду, к грамоте, к единственному известному человечеству пути преодоления мифологического сознания.

В июле 1819 г. школу посетил император. Он присутствовал на экзамене и остался очень доволен. Об этом свидетельствовали не только щедрые награды организатору и учителям, но – и это главное – приказ об учреждении таких же школ во всех полках гвардии. Собирались их открыть во 2-й армии П. Д. Киселев, ставший весной 1819 г. начальником ее штаба.

Однако «Семеновская история» все изменила. Царь, которого никто так и не смог убедить в том, что возмущение семеновцев было спонтанной реакцией на притеснения полков-

ника Шварца, сразу же вспомнил о школах для солдат и даже решил, что Греч замешан в возмущении. Пикантность ситуации состояла в том, что в Семеновском полку школы не было, она должна была открыться через несколько дней после восстания (о чем самое высокое начальство узнало не сразу). Но судьба солдатских школ в гвардии была решена.

Даже такой человек, как П. Д. Киселев, тогда начальник штаба 2-й армии, которому Пестель читал главы «Русской правды», писал: «По моему мнению, образование действительно полезно только для людей, призванных командовать другими; обязанные же повиноваться могут без него обойтись и даже слушаются лучше». Не менее красноречив и категоричный совет дежурного генерала Главного штаба А. А. Закревского Киселеву, сделанный в разгар следствия над солдатами-семеновцами: **«Школы заводи только на нужное число письменных людей и не распространяй на всю армию»**<sup>63</sup>.

Эти мысли – ключ к пониманию многих российских проблем. Ибо, несмотря на вековые разговоры о непросвещенности русского народа, дворянство, повторюсь, практически ничего не делало для того, чтобы изменить эту ситуацию.

Потому что неграмотными людьми управлять проще. До поры.

Показательный пример. Когда императрица Мария-Терезия начала вводить в Венгрии свой знаменитый Урбарий, серьезно смягчивший крепостное право, то на пути реформы, кроме противодействия чиновников и помещиков, возникло неожиданное препятствие: «Бедные, забытые крестьяне, привыкшие с тупым равнодушием относиться к своей судьбе, в течение долгого ряда поколений не видевшие ничего, кроме всяких притеснений и обид, никак не хотели понять истинной цели и смысла вводимых положений и с характерным в таких случаях упорством старались видеть тут желание как-нибудь еще ухудшить их и без того невозможное положение».

Тогда Мария-Терезия в 1770 г. издала указ об учреждении начальных училищ во всех деревнях. Финансировать эти школы должны были владевшие землями помещики и духовенство, поскольку, по ее мнению, именно они в первую очередь «воспользуются выгодами, проистекающими от просвещения народа»<sup>64</sup>.

В России доминировали другие подходы.

В то же время восприятие проблемы народа постепенно лишалось одномерности. Анненков отмечает, что летом 1845 г. на знаменитых «посиделках» западников в Соколове впервые прозвучала мысль о необходимости изменения отношения к простому народу.

«Литература и образованные умы наши давно уже расстались с представлением народа как личности, определенной существовать без всяких гражданских прав и служить только чужим интересам, **но они не расстались с представлением народа как дикой массы, не имеющей никакой идеи и никогда ничего не думавшей про себя**».

В 1842–1843 гг., пишет Анненков, многие образованные люди еще исповедовали «тип горделивого, полубарского и полупедантического презрения к образу жизни и к измышлениям темного, работающего царства... Особенно бросался он в глаза у горячих энтузиастов и поборников учения о личной энергии, личной инициативе, которых они не усматривали в русском мире. Почасту отзывы их об этом мире смахивали на чванство выходца или разбогатевшего откупщика перед менее счастливыми товарищами.

**Кичливость образованности** омрачала иногда самые солидные умы в то время и была по преимуществу темной стороной нашего западничества... Привычка к высокомерному обращению с народом была так обща, что ею тронуты были даже и люди, оказавшиеся впоследствии самыми горячими адвокатами его интересов и прав»<sup>65</sup>. Автор имеет в виду прежде всего К. Д. Кавелина.

По мнению Анненкова, очень важную роль в изменении отношения к народу и «его умственной жизни» сыграл «столь много осмеянный некогда славянофилами Тургенев. Пер-

вые его рассказы из «Записок охотника»... положили конец всякой возможности глумления над народными массами. Но почва для «Записок охотника» была уже подготовлена, и Тургенев выразил ясно и художественно сущность настроения, которое уже носилось, так сказать, в воздухе»<sup>66</sup>.

Но, полагаю, Анненков несколько преувеличил.

К 1856 г. относятся следующие мысли Б. Н. Чичерина: **«Приколотить кого-нибудь считается знаком удалства, и нередко случается слышать, как этим хвастаются даже лица, принадлежащие к так называемому образованному классу. Вообще людей из низших сословий дворяне трактуют как животных совершенно другой породы, нежели они сами.**

Дворянская спесь, столь безрассудная и вредная для общественного быта, имеет корень в крепостном праве. Дворянин знает, что он дворянин, т. е. человек по своему рождению предназначенный жить чужой работой, – и потому он личный труд считает для себя бесчестьем.

В самом деле, каким образом мелкопоместный дворянин может снизить на какое-нибудь коммерческое предприятие или работу, поставляющую его в личную зависимость от другого, когда у него самого есть две, три души, обязанные служить ему всю жизнь, и которых он может безнаказанно сечь, сколько ему угодно?

Со своей стороны крестьянин, который и под вековым гнетом не потерял еще хороших своих качеств, сделался также ленив и беспечен, как барин, скрытен, лукав и лишен всякого понятия о нравственном своем достоинстве.

Без сомнения, крепостное право много содействовало тому, что чувство нравственного достоинства человека и гражданина исчезло у нас совершенно, а без него нет в человеке ни благородных стремлений, ни живой и энергической деятельности, ни чувства законности и справедливости»<sup>67</sup>.

Несколько промежуточных выводов.

1. Крепостничество было очень сложным и многоплановым явлением, его конкретное наполнение, его тяжесть и уровень жестокости в огромной степени зависели от личности владельца, местоположения, размера имения и т. д. Однако тенденция к его «идиллизации», проявившаяся в последние годы, едва ли состоятельна.

Тяглое животное надо кормить, иначе оно не сможет работать. Разумные помещики это понимали. Разумными были не все.

Поэтому, какие бы яркие примеры, выводящие нас за рамки привычного негативного отношения к крепостному праву, ни приводились, они не могут отменить того, что жизнь большей части помещичьих крестьян так или иначе описывалась инструкциями, подобными текущей.

При этом тормозящее влияние крепостничества на жизнь страны хорошо доказывает история русской хлопчатобумажной промышленности, созданной крестьянами Шереметевых и немногих других помещиков с более высоким экономическим и нравственным интеллектом, чем у братьев по классу. Эта история дает представление о интеллектуальном потенциале русского народа, выведенного за привычные крепостнические рамки.

А какой была история русской текстильной промышленности без Шереметевых?

2. Система, безжалостная к дворянству, разумеется, была еще более жестокой и в отношении простого народа.

Освобождение Петром III и Екатериной II дворянства от обязательной службы царю и купечества от государственного тягла не повлекло за собой освобождения крестьян от службы помещику. Более того, крепостными стали малороссийские крестьяне, которые были до этого свободными, а сотни тысяч казенных крестьян было розданы дворянам.

Это вопиющая несправедливость положила начало открытой незаконности крепостничества, что, конечно, вполне осознавалось самими крестьянами.

3. Усилившееся размежевание (расхождение) между дворянством и крестьянами – в том числе и культурное – породило феномен социального расизма.

Его отсчет, полагаю, начался задолго до Петра I, и появление его было неизбежно ввиду всеобщего закрепощения сословий, когда каждый вышестоящий, бесправный перед следующей «инстанцией», отыгрывался на тех, кто был ниже; в бесправии, разумеется, были и свои принцы, и свои нищие.

Социальный расизм на протяжении веков в громадной степени определял всю психологическую, эмоциональную атмосферу жизни страны вплоть до 1917 г.

Он, как мы знаем, не был уникально российским явлением. Однако на Западе буржуазно-демократические революции постепенно размывали его, потому что простые люди получали гражданские и политические права (как бы ни оценивать их реальную полноту), которыми учились и со временем научились пользоваться.

В России над якобы призрачностью этих прав много потешались и до, и после 1917 г. Позже выяснилось, однако, что это был смех сквозь слезы.

## Раскулачивание в крепостную эпоху

После 1861 г. в народнических кругах была очень популярной идущая от славянофилов мысль о том, что русские крестьяне не знали частной собственности и поэтому не развращены чуждыми «нам» римскими представлениями о собственности, что очень полезно для грядущего социализма.

Это неверно.

Закрепленного в законе права собственности на землю у крестьян действительно не было (но его не было и у помещиков до 1782 г.) Однако владение, имеющее все атрибуты собственности, по факту было. Этого права крестьяне разных категорий лишались постепенно, по мере укрепления государства и усиления крепостничества.

Так, в XVI в. крестьяне, объединенные в общину, были свободными людьми, хотя и с низким социальным статусом. Они несли государственное тягло, но даже на владельческой земле вполне свободно распоряжались своей землей, не говоря о приобретенной.

Земли было много, и она получала ценность только тогда, когда к ней был приложен труд. Поэтому, если вы сами выкорчевали лес, распахали целину и т. д., то получали на нее права, близкие к правам собственника и могли передавать ее своим наследникам.

Конечно, тогда не было общинного землепользования и не было переделов. Селения, как правило, были очень невелики по размерам. Главным для общины была не земля, а тягло, повинности которые она несла.

После закрепощения крестьян в 1649 г. права общины уменьшаются, она все больше зависит от правительства и помещика. Крестьян начинают продавать и покупать – пока еще с землей, а затем и без земли.

Огромную роль в ликвидации крестьянской «собственности» на землю сыграло введение Петром I подушной подати, ставшее очень важным рубежом социальной политики Империи.

Обычно этой подати в учебнике уделяется один абзац, но нам необходим краткий экскурс в ее историю, который заодно прояснит, кто и как оплачивал величие Российской империи.

Уже в середине 1710-х гг. было ясно, что Петр I исполнил свою мечту – страна обрела армию европейского уровня, и ее сохранение в мирное время стало залогом будущего влияния России на дела континента.

Пока шла война, проблема содержания войска, в большой мере дислоцированного на чужой территории, решалась ситуативно.

Но кто и как будет оплачивать ее по окончании войны?

Выход царь нашел во введении подушной подати и расселении армии на «вечные квартиры» внутри страны. При распределении войск по полковым дистриктам исходили из того, что на содержание одного пехотного солдата требуется 32,5 податных души, а на конного – 51,25.

Одного солдата-пехотинца (при расходе на него 28,5 рубля в год) могли содержать 47 крестьян при подушной подати в 70 копеек, а кавалериста – 57 крестьян, так как расходы на него и его лошадь составляли 40 рублей в год<sup>68</sup>.

Первоначальная цифра 74 коп. с души (заметьте, не 73 и не 75! В 1726 г. ее понизили до 70 коп.), была получена путем деления суммы содержания армии и флота на численность податного населения, для выяснения которой была устроена его перепись, в итоге получившая название 1-й ревизии. Государственные крестьяне доплачивали еще 40 коп. оброчной подати – в такую сумму государство оценило повинности крепостных в пользу помещика.

В. О. Ключевский в присущей ему стилистике так охарактеризовал введение подушной подати: «На современный взгляд может показаться странным придуманный Петром способ содержания армии. При расположенном к карикатуре воображении может возникнуть и воз-

никал вопрос: **зачем народ, только что окончивший победоносно многолетнюю войну и ценой страшных жертв и усилий оттягавший у давнего врага восточный берег Балтийского моря, – зачем было подвергать его нашествию собственных его победоносных рекрутов»<sup>69</sup>.**

Едва ли не в каждом внутреннем уезде были расквартированы регулярные полки. Легко представить, чем обернулись для крестьянства эти «вечные квартиры».

Е. В. Анисимов пишет: «Реакция крестьян и помещиков, на земли которых вдруг начали приходить и селиться полки, была резко негативной: постой – эта тяжелейшая повинность военного времени<sup>21</sup> – теперь, в мирное время, становился как бы постоянным институтом. Можно не сомневаться, стон пронесся по стране... **Постой оказывался пострашнее массовых экзекуций и ссылки»<sup>70</sup>.**

На первый взгляд, подушная система обложения, в отличие от старой, подворной имела немало плюсов.

Вместо множества различных налогов, что при прочих равных способствовало росту злоупотреблений и незаконных поборов, вводился единый сбор, вроде бы простой и понятный (чуть ли не воплощение идеи единого налога).

Однако все оказалось совсем не просто.

На содержание армии и флота правительство хотело получать заранее определенную сумму, и сокращение числа плательщиков в его планы не входило.

Это обусловило, во-первых, необходимость контроля за перемещением людей, ведь крестьянство при Петре I, как и при Иване Грозном, активно шло в бега. Так возникла паспортная система, кардинально затормозившая мобильность населения, развитие производительных сил в стране и многое другое.

Во-вторых, поскольку казна не могла постоянно учитывать смертность и рождаемость населения, она потребовала от податных единиц (общин) впредь до новой ревизии платить за все убывшие души – и за умерших, и за бежавших.

В-третьих, земельное тягло было перенесено на личность крестьянина и стало душевым тяглом, и если каждый крестьянин платит 70 коп. подушной подати, то в теории у всех «душ» в каждом селении должна быть равная возможность заплатить эту сумму. Отсюда – логичная идея распределения земли пропорционально числу наличных плательщиков и **возникновение массовых переделов** земли, с помощью которых компенсировалось изменение состава семей в промежутки между ревизиями. Понятно, что заставить крестьян переделывать землю можно было только там, где власть господина – будь то помещик, церковь или казна – была достаточно сильной, чтобы добиться этого. В крепостной деревне сделать это оказалось проще (но не везде одинаково просто).

Таким образом, **у истоков аграрного коммунизма в России стоит само правительство.** Оно же вплоть до начала XX в. будет всемерно поощрять его.

При этом сам механически вычисленный единообразный налог, который, по замыслу Петра, должен был уравнивать население в платежах казне, на деле оказался крайне неравномерным.

С одной стороны, люди постоянно рождались и умирали, и это буквально каждую минуту меняло численность населения, зафиксированную ревизией, что делало эти цифры чистой фикцией. С другой стороны, реально платили подать не все лица мужского пола, а лишь те, кто работал.

То есть в отдельной деревне не совпадало не только наличное и ревизское число душ, но и количество наличных душ и действительных плательщиков. Поскольку с течением число

---

<sup>21</sup> В Центральной Европе крестьяне эмпирическим путем вывели поговорку, что лучше иметь на постое трех солдат-французов, чем одного пруссака.

работников менялось, то отдельные дворы платили то за большее, то за меньшее число ревизских душ.

Наконец, размеры крестьянских наделов сильно различались, и подушная подать сразу же ударила по малоземельным и малосемейным (с небольшим числом рабочих) дворам.

Уже в 1725 г. представители таких дворов в церковных вотчинах просили начальство издать указ о уравнивании «большетяглых крестьян с нами малотяглыми, чтобы нам против своей братьи обиды, и в платеже подушных денег излишнего отягощения не было»<sup>71</sup>.

Первая ревизия была проведена неряшливо – кое-где население зафиксировали дважды, а в других местах пропустили целые селения и даже волости. В связи с введением новой подати усилилось бегство жителей в ненаселенные места и за границу. С тех пор в законодательстве XVIII в. фигурирует «пустота» в деревнях, т. е. отсутствие внесенных в списки плательщиков.

Подушная подать была тяжела сама по себе, но, как минимум, не меньшей тягостью для народа стал порядок ее взимания, связанный с расквартированием полков. Трижды в год в положенные сроки воинские команды во главе с земскими комиссарами и полковыми командирами объезжали свою – в полном смысле слова – кормовую территорию, и «эти вооруженные сборщики наводили ужас на население; кормясь за счет обывателей, они чинили жестокие экзекуции и взыскания»<sup>72</sup>.

Понятно, что в этих условиях все благие пожелания Петра I о соблюдении законности, недопущении лишних поборов с населения, об организации правильного податного счетоводства и т. д. остались мечтой.

Все получилось ровно наоборот, не говоря о том, что задолженность по платежам (т. е. недоимки) также появилась буквально с 1724 г.

Сенат уже в 1726 г. констатировал: «Платежом подушных денег земские комиссары и обретающиеся на вечных квартирах штаб и обер-офицеры так притесняют, что (крестьяне) не только пожитки и скот распродавать принуждены, но многие и в земле посеянный хлеб за бесценнок отдадут»<sup>73</sup>.

Екатерина I, желая выказать народу «матернее свое милосердие и попечение», решила в 1727 г. отсрочить платежи подушной подати. Ее указ об этой милости начинается с красноречивого признания в том, что «нашего Империя крестьяне, на которых содержание войска положено, в великой скудости находятся и от великих податей и непрестанных экзекуций и других не порядков в крайнее и всеконечное разорение приходят»<sup>74</sup>.

Эта информация стала своего рода эпитафией к дальнейшей истории взимания подушной подати. Только за 1728–1748 гг. на этот счет было издано 97 (!) указов<sup>75</sup>, примерно по 5 в год, и явно не от хорошей жизни.

Податная система как будто специально приглашала чиновников к злоупотреблениям. С самых первых месяцев взимания подушной подати она стала источником несправедливых доходов для всех, причастных к ее сбору.

С крестьян брали денег больше положенного, «вымышляли» поборы, не давали расписок и завышали недоимки, что провоцировало крестьянские побегии, «воровство и разбои» в уездах<sup>76</sup>.

Годами с людей взимали старые недоимки, прощенные еще при Петре I.

Обычны обвинения в том, что чиновники «на ком хотят, на том взыскивают, а с других не взыскивают»<sup>77</sup>.

Список причин недоимочности мало менялся от года к году – это бездеятельность местных властей, «упрямство плательщиков», «скудость и пустота».

При этом местная администрация утверждала, что «от полковников и офицеров обывателям чинятся обиды и разорения»<sup>78</sup>, а военные, в свою очередь, обвиняли гражданских чинов-

ников. Подобные взаимные упреки станут постоянным аккомпанементом податного дела. Справедливы были, видимо, и те, и другие.

Центральные органы были завалены жалобами на действия и офицеров, и земских управителей. Их судили, им устраивали «экзакуцию, какой кто достоин, за исключением смертной казни», но задолженности это, разумеется, не устранило.

В 1730 г. сложено недоимок до 4 млн руб., а в 1739 г. их снова считалось свыше 1,6 млн руб.<sup>79</sup>

Анна Ивановна взялась за дело серьезно, не жалея угроз в адрес местной администрации и ответственных лиц.

В июне 1731 г. был принят очень важный документ – новый регламент камер-коллегии, гласивший, что за поступление подушной подати помещичьих крестьян отвечал помещик или их приказчики и старосты, а за платежи дворцовых и церковных крестьян – управители вотчин.

Если подать не вносилась вовремя, то «в такие деревни для правеха тех денег» отправлялась военная экзакуция<sup>22</sup>, которая должна была «немедленно править на помещиках, а где помещиков нет на прикащиках и на старостах обще, и их понуждать, чтоб они собирали с крестьян, а буде крестьяне прикащиков и старост слушать не будут, в том им вспомогать по их требованию и с тем платежем к воеводам отсылать»<sup>80</sup>.

Однако и эти меры не привели к желаемому результату. Буквально каждая проверка действий местных властей выявляла те или иные злоупотребления и упущения.

В начале 1738 г. правительство объявило, что недоимки прошлых лет по всем сборам далеко не всегда вызываются «пустотой (отсутствием – *М. Д.*) или скудостью» плательщиков, но и тем, что «на знатных людях... губернаторы и воеводы взыскивать не смеют, бояся их страха» и что помещики-«ослушники», владея деревнями в разных уездах, переезжают из одной в другую, «убегая» от платежа, а губернаторы и воеводы в чужих уездах их преследовать «не смеют».

При этом свои собственные доходы такие господа получают полностью и увеличивают их «всегдашнею крестьянскою на них работою». Из-за этого «крестьянам не токмо на подати государственные, но и на свое годовое пропитание хлеба из земли добыть или чрез какие промыслы... получить времени не достает» и они разоряются – не от государственных податей, а «от непрестанных работ помещиковых». И, наоборот, у тех помещиков, которые своих крестьян «порядочно содержат и не так отягощают», все в порядке – и платежи в казну, и собственные доходы<sup>81</sup>.

Впервые взгляды правительства на причины накопления задолженности вышли за рамки обычного тезиса о бездеятельности местных властей. Оказалось, что эти власти, должны были

---

<sup>22</sup> В крупные селения с долгами более 500 руб. посылали обер-офицера, двух унтер-офицеров и 5–6 солдат, в деревни с недоимкой от 100 до 500 руб. – обер-офицера и 2–3 рядовых, а туда, где долг был менее 100 руб. – унтер-офицера с двумя-тремя рядовыми. Всем им полагались кормовые деньги (соответственно 15, 5 и 3 коп в день) и сверх того – по три фунта хлеба и фунт мяса каждому, а зимой и осенью – также и лошади. Оплачивала экзакуцию, естественно, не казна. (ПСЗ. Т. 8. № 5789. С. 486–487). Этот «праздник жизни», как можно видеть, планировался надолго и всерьез. И, кажется, не слишком сложно вообразить, как он происходил! Очень характерно, что правительство, прекрасно понимая морально-нравственный уровень своих экзакуторов, не скупилось на превентивные и весьма жесткие угрозы в их адрес за возможные злоупотребления: «Самим тем будучи на тех экзакуциях отнюдь не требовать, и других никаких предметов и обид, от чего б могла происходить крестьянам какая тягость не чинить и для своих прихотей в тех деревнях долговременно не жить; но коль скоро доимочные деньги заплатят, то им из тех деревень в тож время без всякия мешкоты вон выезжать; а на проезд тем посланным определять в каждой день не меньше 30 верст, дабы будучи в дороге, для своих прихотей время не продолжали. И того всего губернаторам и воеводам смотреть за ними накрепко, и в инструкциях писать им с подтверждением именно. А ежели те посланные на экзакуциях будут чинить в противность сего, и сверх определенного будут брать что излишнее, и в том для своих прихотей время продолжат напрасно, таких по свидетельству судить и наказывать по военному артикулу». Посылать надо обер-офицеров «доброе состояния, которые могли бы о всем их рапортовать подлинно, для чего в тех деревнях такая доимка чинится, от послабления ли в сборе тех денег от помещиков, прикащиков и старост, или ради какой скудости и прочей невозможности». (Там же. С. 487.)

считаться с силой и влиянием крупных землевладельцев, а чрезмерная эксплуатация многими помещиками крестьянства в свою пользу подрывала его способность исправно отбывать государственные повинности.

Фактически уже с 1730-х гг. в стране возник своего рода «податной цикл» – накопление недоимок, затем суровые и жестокие попытки выбить их из населения, жесткие угрозы в отношении местных администраций всех уровней, помещиков, низших управителей, а также крестьян-неплательщиков, которые (угрозы) в определенной степени исполнялись, однако в итоге власть была вынуждена идти на полное или частичное списание задолженности.

В последующие десятилетия будут меняться названия инстанций, ответственных за поступление платежей, будут перемены в местном управлении Империи, год за годом во множестве указов будут повторяться одни и те же требования, угрозы (иногда даже угрозы) с употреблением таких превосходных степеней, как, «деятельнейшее», «наисильнейшее», «наикрепчайшее». Вот только желаемого результата добиться так и не удастся.

Отмечу при этом, что угрозы не были пустыми – мы знаем о «бедных и неимущих помещиках, кои сами и жены и дети в доимках под караулом содержатся», или «от голода помирают», пока кормилицы пребывают «сами в галерной работе и в тюрьмах за караулом страждут»<sup>82</sup>.

Несложно представить, каково приходилось при этом простому народу, если дворяне работали веслом на галерах или сидели в тюрьмах.

Сказанное делает понятнее «школу», в которой воспитался наш народ.

К середине XVIII в. в крепостной деревне господствует уравнилительнопредельная община, оказавшаяся **оптимальной формой эксплуатации** – помещики и государство благодаря послушному «миру» более или менее регулярно получают свои доходы, крестьяне находятся под присмотром и повинуются «установленным властям».

И с этого времени правительство начало переносить методы вотчинного управления на казенную деревню. Тут нужно выделить две линии.

Во-первых, Екатерина II и Павел I решили усилить роль крестьянских выборных органов в податном деле, а фактически переложить на большую часть ответственности за исправное поступление платежей на само крестьянство для уменьшения, в числе прочего, влияния на эту сферу местных чиновников.

В 1769 г. у государственных крестьян была введена круговая порука по уплате податей, негативные стороны которой вполне сознавались и в то время<sup>23</sup>.

В частности, сбор казной с более зажиточных крестьян недоимок, накопившихся на их бедных односельчанах, на практике часто вел к деградации тех относительно немногих хозяйств, которые выбились на уровень выше среднего, притом, что переоценивать этот уровень нет никаких оснований.

Забегая вперед, отмечу, что жизнь не оправдала расчетов правительства. Множество крестьянских должностных лиц вполне логично включилось в систему грабежа своих односельчан, несмотря на подробно расписанные порядок сбора податей и меры контроля. Ведь податное дело может кому-то показаться несложным лишь в теории. Легко собирать комсомольские взносы в условиях тотальной грамотности и при наличии печатных ведомостей.

Организовать и особенно контролировать податное счетоводство, как это предусматривалось с 1797 г., в повально неграмотной деревне оказалось несколько сложнее. И откуда у морально прибитых русской историей крестьян вдруг появится массовое желание делать это?

---

<sup>23</sup> Так, граф Р. И. Воронцов заметил однажды: «Обыкновенно у нас ныне прямые хлебопашцы и добрые хозяева многим отягощаются перед ленивцами, что весьма несправедливо и со вредом великим, как-то: когда бедные или справедливо назвать ленивые не заплатят государственную подать или владельческую, то оную собирают с исправных и тем самым добрые поселяне огорчаются, а ленивым дают повод больше лениться». (Труды ВЭО. 1767, Ч. 5. С. 8–9.)

Жизнь жестко воспитала их в парадигме о законе и дышле. А тесный союз с полицией делал сельские власти фактически бесконтрольными и безнаказанными.

Во-вторых, власть решила ввести уравнительное землепользование у всех категорий государственных крестьян. Если на большей части Великороссии, как говорилось, достаточно быстро начались земельные переделы, то на севере и юге страны ситуация была иной.

Эти окраины Империи находились в особых административных и хозяйственных условиях, и там еще сохранилось свободное крестьянство.

Северные черносошные крестьяне были одной из самых многочисленных категорий казенных крестьян<sup>83</sup>. Своей пашенной землей и угодьями они владели как частные собственники, поскольку львиную их долю они отвоевывали у тайги и тундры, расчищали, осушали и приводили в порядок годами неустанного и очень тяжелого труда.

Их земля всегда была в свободном рыночном обороте, ее продавали и покупали, завещали по наследству, отдавали в приданое дочерям, в монастырь на помин души, и т. д. Все это совершалось законным порядком – составлялись крепостные акты, которые подтверждались в присутственных местах.

Ясно, что переделов северная деревня не знала. Информация о земельных участках каждого отдельного домохозяина в каждой деревни фиксировалась в особой вервной книге. Мирское тягло падало не на крестьянина, а на землю. Если земля меняла владельца, то он получал вместе с ней и тягло.

Надо сказать, что эта практика не устраивала государство, и оно еще в XVII веке неоднократно запрещало в поморских уездах продажу, заклад и отдачу земли в монастыри и требовало возвращения без компенсации назад казенных земель, проданных крестьянами, впрочем, безуспешно в обоих случаях<sup>84</sup>.

Подушная подать внесла новые черты в данную коллизию.

Свободный оборот земли, как и всегда, вел к весьма неравномерному ее распределению внутри общины и имущественной дифференциации. К тому же немалая часть крестьянских земель перешла к купцам, посадским и даже к духовенству. Источники говорят о так называемых «деревенских владельцах», богатых людях, в том числе и крестьянах, уже тогда именуемых «мироедами» или «мирососами». Рядом с ними жили малоземельные или вовсе безземельные крестьяне, которые иногда селились на землях «деревенских владельцев» и становились зависимыми от них половниками. Таким образом, некоторые крестьяне имели своих как бы крепостных.

В итоге шло накопление недоимок, которые хотя и взыскивались, по выражению источника, «с **крепким неупустительным принуждением**», однако не слишком успешно, что не могло устроить ни центральную, ни местную администрацию.

Сначала правительство начало атаку на свободное распоряжение землей.

Межевые инструкции 1754 и 1766 гг. прямо говорят о том, что земля, на которой живут и которой пользуются государственные крестьяне, является собственностью правительства, которое одно только и имеет право ею распоряжаться.

Крестьяне впредь ни под каким видом не могли отчуждать свои земли. Закон имел обратную силу – в казну безденежно возвращались все земли, которые когда-то были отданы крестьянами на помин души, проданные, заложенные и т. д. всем, кто не платит подушной подати, от воевод до канцеляристов.

Позиция власти была предельно ясной: земли, которые крестьяне расчистили и «**под видом своих собственных**» продали и заложили разных чинов людям тех провинций, или которые, быв расчищены крестьянами, отданы от канцелярий за иски, также отбирать от владельцев и межевать в число земель государственных»<sup>85</sup>.

А. Я. Ефименко, приводя эти строки, замечает, что правительство обвиняет крестьян в узурпации прав собственности (они продают расчищенные ими земли «под видом своих собственных») и считает, что **«межевые инструкции по отношению к северному крестьянскому землевладению – да и не к нему одному – являются настоящими декретами конвента. Если их революционный характер не вызвал в северном населении насильственной реакции, то, конечно, только потому, что издать указ еще не значило привести его в исполнение»**<sup>86</sup>. Действительно, декларировать запреты оказалось легче, чем реализовать их – легко сдаваться крестьяне не собирались.

Межевые инструкции молчали об уравнивательных переделах земель, но исследователи считают, что они готовили почву для них. Во всяком случае, в Уложенную комиссию 1767–1768 гг. поступали указы черносотных крестьян с просьбами изъять земли богатых крестьян и отдать их в волости «для разделения на души».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.